АЛЕКСАНДР САМОЙЛЕНКО

сказка и быль о чернохвостом



А. САМОЙЛЕНКО

сказка и быль о чернохвостом



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ» — АЛМА-АТА — 1973

Самойленко А.

С 17 Сказка и быль о Чернохвостом.

Алма-Ата, «Жазушы», 1973

72 с. 100 000 экз. 11 к.

Эта книга — о детях и взрослых, живущих вдали от больших шумных городов. Многих из них с «Большой землей» связывает только самолет. Что же интересного и значительного может произойти в их спокойном и, вроде, небогатом событиями мире?

Автор книги, не один день проживший с промысловиками, егерями, сам не раз бравший в руки охотничье ружье, рассказывает о работе этих людей, о сложных, самых «взрослых», ситуациях, в которые попадают их дети.

...Три войны прошел Андриан Стрепетов, вернулся к своему любимому делу — охотничьему промыслу. И на промысле, там, где никто не протянет руку помощи, трагически оборвалась жизнь опытного охотника...

...Лешке, сыну егеря, весна принесла не только радость и новые открытия в жизни. В охотничьем хозяйстве — браконьер, волки, и Лешка, позабыв о своих играх, наравне с отцом несет нелегкую егерскую службу...

Книгу «Сказка и быль о Чернохвостом» с интересом прочтут все, кто неравнодушен к природе, кого волнует судьба ее обитателей.

$\text{С}\,\dfrac{0763\ 150}{\text{М}\ 402\ (07)\ 73}\,265\text{—}73$ **Р 2**

Погоня



Бедный ты мой Чернохвостый! Как красиво ты уходил от погони! Как яростно рвался из твоих ноздрей воздух, согретый могучими легкими. Как отчаянно, не видя перед собой ничего, кроме черной пустоты, ослепленный, ты ломал грудью вставшие на пути кусты ченгеля и железные стволы саксаула. Ты не выбирал дороги — тебе было не до этого. Ты спасал себе жизнь!

Но как ты был наивен и глуп, мой Чернохвостый! Природа дала тебе быстрые ноги и приучила надеяться только на них. И сейчас ты думал, что они, как всегда, вынесут и спасут тебя. Подобно стреле, ты летел в ночь, чувствовал, как горячая кровь и сердце медленно изменяют тебе и не знал, что надо только сделать прыжок в сторону, упасть меж кустов в снег и крепко зажмурить глаза. И тогда они не будут вспыхивать в луче прожектора, подобно голубым звездам, и погоня растеряется, остановится.

Кинжал света начнет шарить и кромсать на куски ночь, но, Чернохвостый, не открывай глаза — твои предатели,— и тебя не найдут.

Но природа дала тебе в спасение только ноги и, уже слабея, захлебываясь чистым степным ветром, ты попрежнему надеялся на них. И поняв, что гонку проиграл, ты затравленно остановился, всхрапнул и повернулся к ним.

Ты был готов драться и постоять за себя! Но как же ты наивен, мой Чернохвостый! Кому нужны твои искренние порывы честно вступить в схватку? Ты не закрыл глаза, ты смотрел навстречу белому лучу света, и они стали хорошей мишенью...

Сын спросил:

— Откуда ты знаешь эту сказку?

— Откуда?.. Ты ведь любишь сказки, которые не в книгах?..

Разве мог мальчишка догадаться, что никто бы не сложил такую сказку, не увидев того, что видел я? Разве мог бы я знать, как светились в ночи глаза кара-куйрюка[1] и что достаточно было Чернохвостому зажмурить их, и мы бы не убили его?

Я не убивал, но я был рядом с теми людьми.

Тогда я еще не умел стрелять, это было давно, в то время, когда мы на всю жизнь начинаем запоминать события, случившиеся в нашем присутствии. Мои домашние говорят мне, что я должен помнить, как в мартовский льдистый день тонул на каком-то подмосковном озере, и меня вытащил милиционер. Как на Черном море нашу лодку окружили дельфины, и я бросал им только что пойманную на самодуры пикшу и мелкую ставриду...

Возможно, все это было. Но та погоня властно вытеснила, подавила все детские воспоминания, и теперь сознательную жизнь я отсчитываю с ночной гонки за Чернохвостым...

— А дальше? Что же дальше?

Мальчишка смотрел мне в глаза и ждал ответа.

— Дальше? ... Сейчас, сейчас...

И уже в который раз я вспомнил — как же все это было на самом деле?

Впереди под светом фар вертелась мягкая, пыльная колея. В лобовом стекле качалась звездная ночь. Бритов сказал, что раньше, совсем давно, здесь проходила караванная тропа и по ней на верблюдах в далекие теплые страны везли золото и редкие ткани. И с тех пор дорога, проложенная однажды, не забыта людьми и служит им, потому что никому больше не удавалось пробить через степь путь более легкий и короткий.

То и дело из-под передних колес вспархивали какие-то птицы, они резко ложились на крыло и пропадали в темноте. Птицы возникали неожиданно, словно брошенные в нашу машину из пращи, и каждый раз я порывался отпрянуть — боялся, что сильные крылья хлестнут по лицу. Одна птица ударилась грудью в лобовое стекло и жалобно вскрикнула. Я испуганно отшатнулся.

---

[1] Джейран или кара-куйрюк — черный хвост.

— Что это?

— Не что, а кто! Козодой это.— Бритов рассмеялся.— Знаешь, как они козу доят?

— Нет, не знаю,— ответил я, потому что никогда не видел даже козу.— А если он не успеет проснуться и не взлетит?

Шофер открыл дверку, закричал в степь.

— Граждане козодои, спать на проезжей части степи строго воспрещается! — и они с Бритовым дружно рассмеялись.

Я сидел на Бритовском тулупе и ехал на охоту.

Недавно у меня был день рождения. Если разобраться, то мне вроде и некого было приглашать — мы недавно переехали на новую квартиру, я стал ходить в другую школу, и друзья пока что были такие, что можно было пригласить, а можно и никого не звать — и мне и им было все равно. Но родители велели не замыкаться и пригласить троих мальчиков и трех девочек — на свой выбор. Я пригласил шестерых мальчиков.

Мы сидели за столом, покорно ели все, что приносили из кухни, и говорили всякую чепуху — день рождения получился совсем скучным. Пришел наш сосед — Бритов. Пошумел, похлопал моих гостей, взъерошил им прически и объявил, что с позволения моих родителей он хочет подарить мне охоту! Мне стало тесно от радости и я с удовольствием заметил, как мои гости почтительно замолчали и завистливо уставились на меня.

Мама говорила, что у Бритова никогда не было детей, может быть, поэтому отец тут же, без лишних разговоров, разрешил мне поехать с соседом.

Бритов уже давно разжигал во мне неизвестное и тревожное чувство, оно безжалостно захлестывало меня, когда сосед приносил радужные перья фазанов, заячьи хвосты, похожие на огромные снежинки. У моей кровати лежала большая дымчатая шкура архара. Это тоже была щедрость Бритова.

После таких подарков по ночам мне снились диковинные сны, а утром, как ни старался, я не мог вспомнить — о чем они? Сны улетучивались, как легкий туман под ударом шального ветра и оставалось только ощущение чего-то удивительного и редкостного.

Всю ночь я не спал, сбежал с последнего урока, бродил по сырому голому парку и не мог дождаться часа отъезда. Сейчас обо мне забыли, шофер и Бритов вспоминали свои давние поездки, смеялись. Но мне ничего

и не надо было, я сидел на мягком тулупе и все старался не проглядеть — все ли козодои успевают вылететь из-под колес?

Иногда из ночи на дорогу свешивались перевитые, как лианы, ветки деревьев. Само дерево стояло в темноте на обочине, и казалось, что ветки тянутся прямо с неба.

После одного из поворотов вдалеке вспыхнули две оранжевые звезды, погасли, опять засветились и прямо над землей покатились через дорогу. Не сговариваясь, Бритов с шофером быстро подняли лобовое стекло и в руках моего соседа тускло блеснули стволы двухстволки — я и не успел заметить, как он вытащил из чехла и быстро собрал ружье.

Шофер включил боковой прожектор, направил столб света на звезды, и я увидел лису, мне даже почудилось, что она, как человек, жмурится от яркого света. Бритов прицелился и ждал — машина медленно шла вперед и расстояние до цели сокращалось.

— А почему она не убегает? — спросил я. Мне никто не ответил. Шофер воровато поглядел по сторонам — вокруг замерла черная осенняя ночь — и потянул Бритова за рукав.

— Матвей Палыч, не нашуметь бы нам на свою голову, а? Отъехали, пока не далеко.

Бритову будто напомнили о чем-то неприятном для него, он искоса посмотрел на шофера и буркнул.

— Ладно, давай плевательницу!

Шофер сунул руку в брезентовый верх газика и вдруг вытащил оттуда малокалиберную винтовку.

Лиса все так же стояла в луче прожектора и чего-то ждала. Выстрел треснул сухо и коротко, как раздавленный пустой грецкий орех. Лиса высоко подпрыгнула и, словно укладываясь спать, потянулась, улеглась и обернула себя хвостом. Шофер заглушил мотор.

— Кровь пущена — охоте быть. Беги, принеси! — Он повернулся ко мне. Я нерешительно вылез из газика и остановился — я боялся идти туда, к убитой лисе.

Каждая кочка отбрасывала огромную непроглядную тень и казалось, что это — пропасть! За кустами саксаульника зияли такие же черные провалы и качались страшные исковерканные сполохи.

Из машины мне в спину, как камень, ударил ехидный смешок.

Они смеялись надо мной! Я обиделся и пошел. Бритов вылез на подножку и покрикивал.

— Правее, еще чуть... не оступись...

За круглым мохнатым ушком запеклась маленькая капля крови — мой сосед стрелял хорошо. Боясь, что Бритов увидит, я незаметно потрогал лису ногой — вдруг живая?

Она была мертва. Я взял ее за холку и пряча глаза от слепящего света, пошел обратно. Под мехом пряталось еще горячее и гибкое тело, в холке, сжатой рукой, трепетала жилка, хотевшая прожить как можно дольше.

Матвей Палыч взял лису за задние ноги и сильно встряхнул. Хрустнули позвонки и рыжий мех на мгновение засветился. Он бросил добычу к ногам шофера.

— Давай, Степан, ты по этому делу спец! — и, запрокинув голову, потянулся так, что затрещали кости. И звук этот был так похож на хрустенье мертвых лисьих позвонков, что я испугался. А Бритова разламывала сладкая истома, чувство первого удачного выстрела и ожидание настоящей охоты.

— О-о-ох! Но-о-очь какая, Степан, а-а-а!..

Степан подтянул лису поближе к свету и принялся обдирать. Вокруг фар роились и мельтешили ночные бабочки, они бились в лицо шоферу, и, снимая шкуру, он сквозь зубы ругался и кряхтел. Руки его уже были красны, запахло горячей кровью, я отвернулся и вздрагивал, когда за спиной что-то хрустело и рвалось.

— Да, хороша ночь — безлунье.

Степан воевал со шкурой.

— С луной каши не сваришь, нас с луной далеко видать.

Он еще раз рванул шкуру, подрезал ее у морды.

— Есть воротник. А вонючая гадость, а?

От хруста вывернутых костей, теплого запаха обнаженного лисьего мяса, от слова — «каша» у меня закружилась голова, и я с трудом удержался, чтобы не вырвать. Вытерев о песок, а потом о голенище сапога нож, Степан выпрямился и подмигнул мне.

— Было бы что обдирать, а там уж как-нибудь сладим!

Я побоялся, что он заметит мою слабость и страх, и яростно закивал головой.

— Конечно, сладим...— и попятился из луча света. Мне показалось, что сейчас шофер протянет шкуру и скажет, чтобы я положил ее в кабину.

Бритов наконец перестал потягиваться, изламывать

тело, резко встряхнулся, скользнул взглядом по шкуре и коротко сказал.

— Сделал дело — гуляй смело. Вперед! Надо управиться до луны.

Опять была дорога, потревоженные козодои и суетливые тушканчики. Застыв столбиком, они подпускали машину и пулей вылетали на обочину, вроде игру затеяли — кто кого? Бритов все время высматривал что-то впереди и, не оборачиваясь, спросил меня.

— Чего молчишь? Знаешь, когда сегодня луна взойдет? Нет? Чего ж ты так, козу не знаешь, луну не знаешь... Ничего, доберешься и ты до астрономии. Полезная наука, есть луна — нет козла, нет луны — два козла.— Матвей Палыч ткнул Степана локтем и они опять расхохотались.— Устное народное творчество!

Мне всю дорогу чудилось, что и Степан и Бритов смеются надо мной, и я не мог понять — почему? Я стеснялся, не знал — как себя вести.

Дорога петляла и петляла в ночь, Бритов постепенно угомонился, привалился к боковой дверке и заснул. Часто через дорогу проскакивали зайцы-песчаники, я подавался вперед и толкал Бритова.

— Матвей Палыч, глядите, зайцы!

Бритов отмахивался и мычал, Степан сказал.

— Не буди пока. Стрелять не будем — много шуму, а дичь-то, в карман сунешь — не найдешь!

И все же, увидев зайца, Степан вытягивал шею и невольно направлял газик за убегавшим косым. Одного зайца, совсем ослепленного, он долго гнал по колее, смеялся, потом прибавил газу и задавил.

Задавил ли? Я и не помню: было это наяву или приснилось мне — провалившись в бесчисленные складки тулупа, я засыпал. Передо мной носились и жалобно кричали козодои, в стороне на задних лапках сидела ободранная и кровоточащая лиса. Она показывала лапкой дырку в своей голове и тараторила: «Это родинка, это родинка, это...» Я протянул лисе свою руку и вдруг увидел, что моя родинка исчезла.

Что-то угрюмое промычал мне Бритов и, растопырив руки, пошел на меня. Над ним, как ковер-самолет, плыл брезентовый верх газика и из него свисала малокалиберная винтовка. Козодои кружились над Бритовым и кричали мне: «Не бойся, он спит, он ничего не видит...»

Газик стоял. Фары бессмысленно высвечивали из темноты старый деревянный мост. Оглушительными валами

накатывался рев невидимой реки. Над мостом взлетали брызги и клочья пены. В середине своей мост осел, в том месте вода била его снизу — из щелей настила вверх ударяли фонтаны, и весь мост содрогался и скрипел. На дороге лежал проржавевший до красноты кусок жести. Кто-то написал на нем мелом: «Чиловек! Астарожна! Мост очинь апасный для твоей жизни! Новый и харошии мост 20 км. вверху по течению!»

Матвей Палыч и Степан ходили по мосту, перекатывали бревна, поправляли выбитые водой доски. Бритов увертывался от брызг, размахивал руками и сердито кричал.

— Чего! Чего ты не знал! Чего, в первый раз, что ли?..

Степан постучал сапогом по настилу, будто проверяя его на прочность.

— Проскочим, Матвей Палыч! Он еще самосвал выдержит, не то что нас...

Река опять ударила в днище моста, в лицо Бритову полетели пригоршни холодных брызг. Он покачнулся и опять заорал.

— Ты проскочишь, а я за решетку сяду, да? Ты машину вра́з утопишь и скажешь, что я велел тебе ехать, да? Ты...

Я слушал из машины эту перепалку, которая перешла в грубую ругань, и мне стало стыдно за соседа. Бритов был неправ, ведь если бы не он, Степан не поехал бы на эту охоту. Меня опять начал охватывать страх — если они решат «проскочить», то мне придется вместе с ними ехать по страшному мосту, я не могу отказаться от этой переправы. Дом мой далеко, и я должен быть рядом с Бритовым и Степаном — у меня нет другого выхода.

Степан вдруг в сердцах бросил под ноги доску и со злой отчетливостью сказал.

— А если до нового моста переть — охоту прошляпим. Ночь не резиновая.

Бритов сразу замолчал — это убедило его, и он махнул рукой.

— Ладно, давай потихоньку.

Матвей Палыч тоже постучал ногой по мосту и крикнул мне то, чего я ждал со страхом.

— Вылазь из машины и давай пехом на ту сторону. Пусть он сам рискует!

Все еще надеясь, что они передумают переправлять-

ся по этому мосту, я нарочно медленно выбирался из газика. Мимо меня прошагал Степан и я услышал, как он с ненавистью цедил сквозь зубы.

— Я рискну, а по тебе решетка давно плачет.

Он поджал губы и, сев за руль, пооткрывал все дверцы, чтобы было куда выскакивать, если мост обрушится.

— Я с тобой всю жизнь рискую, начальничек...

Я еще до конца не понимал, что за необходимость гонит их через эту прогнившую и ветхую переправу, почему, вконец переругавшись, они все же решились и будут вместе рисковать до последнего? Я не понимал, почему надо так спешить, когда вокруг ночь, что за охота в темноте и почему надо обязательно успеть куда-то до того, как выйдет луна? И с тоской я подумал, что Матвей Палыч и Степан не передумают.

Последний раз предупреждая об опасности, река вздыбила вывороченное с корнями дерево, скрежеща, оно ударило по мосту и исчезло в бущующем водовороте.

На середине моста я сделал очередной шаг, но не нашел опоры для ноги... Как электрическим ударом меня отбросило назад, страх перехватил дыхание и я сдавленно закричал! Передо мной зияла пустота — несколько бревен были вырваны из настила, я успел заметить, что они аккуратным штабелем лежат на другом берегу. Бритов не торопясь прикурил, подошел ко мне и насмешливо спросил:

— Что? В штаны напустил, охотничек?..

Но, увидев дыру, Матвей Палыч смешался и забормотал.

— Я же все просмотрел... я же внимательно...

Он подхватил меня на руки и понес обратно.— Я же говорил, осторожно, под ноги смотри...

— Степан! Стой! Стой, тебе говорят!

Степан даже не посмотрел в нашу сторону — газик взобрался на мост и пополз к другому берегу. Бритов оттолкнул меня так, что я упал на дорогу, схватил две доски и волоча их, побежал к дыре. Кое-как Матвей Палыч прикрыл ее и отскочил в сторону — Степан по-прежнему вел машину вперед.

Передо мной встало его лицо, когда шофер садился за руль — обиженное, мстительное, будто Степан даже хотел, чтобы машина упала в реку и сам он утонул — назло Бритову!

И мост вздрогнул, покачнулся, противно завизжали

крепления, скобы, и настил, черпнув реку, поплыл в сторону. Степан выглянул из машины и посмотрел на Бритова. Увидев лицо шофера, я заплакал и, позабыв свой страх, побежал к машине, как будто я мог чем-нибудь помочь Степану!..

Матвей Палыч вцепился в перила и страшно выругался. Но мост еще держался, и Степан, видимо, уловив это, резко прибавил газу, машина рванулась вперед, переваливаясь из стороны в сторону, газик запрыгал по бревнам и вылетел на другой берег.

Бритов обмяк, взял меня за руку и поплелся вслед за машиной. И ладонь Бритова была, как лягушка, мокрая и холодная.

Мы расселись по своим местам и долго молчали. Я закутался в тулуп и исподтишка наблюдал за Бритовым и Степаном — ждал: что-то должно было произойти, прежде чем мы поедем дальше. Я понимал, что вот так, просто, сесть в машину и, ничего не сказав друг другу, ехать — нельзя.

Степан был бледен, он сжимал руками баранку и отрешенно смотрел прямо перед собой, на его шее билась и выпирала бугром какая-то жилка. Бритов возился на сиденье, что-то бормотал, кряхтел. Пружины под ним жалобно охали и бренчали. Наверное, Матвею Палычу было неловко и совестно за себя. Наконец они подняли друг на друга глаза и... рассмеялись! Хохотали они долго, вытирали выступившие от смеха слезы, как-будто несколько минут назад Матвей Палыч и Степан не наговорили друг другу кучу обидных слов, и все, что произошло, было ужасно смешно. И я тоже рассмеялся, мне стало радостно за Степана, за Бритова, за себя. И меня снова охватило то непонятное и тревожное чувство, которое я испытывал дома, когда Бритов, вернувшись с охоты,— наверняка, откуда-то из этих мест — дарил мне фазаньи перья и заячьи хвосты.

Незаметно я забыл свои волнения и переживания, дорога опять закружила голову и осталось только одно — острое ожидание. Бритов бодро насвистывал, то и дело просил Степана прочесать прожектором степь направо и налево, потом глянул на часы.

— А ты в это время спать должен без задних ног. Может, мы тебя оставим здесь, вот я тулуп жертвую, завернешься в него — подремлешь. А мы потом за тобой приедем. Я думаю, Степан возражать не будет. А, Степан?

Степан помолчал немного и сказал, что он не возражает. Матвей Палыч, конечно, шутил, попробуй-ка, найди потом человека в степи, да еще ночью! Но Бритов, прищурив глаза, внимательно разглядывал меня.

«Наверное, ждет, что испугаюсь»,— подумал я. И прищур его глаз был таким же, как и на мосту, когда я чуть не свалился в реку и он нарочито медленно прикурил и подошел ко мне. Неожиданно для самого себя я твердо сказал.

— Я останусь, если надо — останусь. Только вы меня не найдете потом,— вы и с мостом...—я несколько раз повторил про себя трудное слово, которое так любила говорить моя бабка.— Вы и с мостом... опростоволосились!

Лицо Матвея Палыча вытянулось, брови его изломились и прыгнули под козырек кепки, а я — со мной такого еще никогда не было — со злорадством заметил: мой сосед по квартире расстерялся и даже обиделся! Степана все это вроде не касалось, только он незаметно подмигнул мне и довольно хмыкнул.

Бритов демонстративно отвернулся, насупился и, положив на колени патронташ, стал выдергивать из него патроны с картечью и с остервенением распихивать их по карманам. Заметив это, Степан, свернул с дороги прямо в пески, и перед глазами в дикой пляске зашлись барханы, щупальцы саксаульника, горбатые тени.

И почти сразу, наверное, Бритову и Степану повезло,— машина вскарабкалась только на третий бархан,— из-за ченгелей поднялись две пары глаз. Они светились холодным фосфорным светом, как гнилушки в лесу.

— Қара-куйрюки! — выдохнул Степан и невольно затормозил. Бритов суетливо пошарил рукой в карманах, патроны зазвенели, посыпались ему под ноги, дрожащими пальцами он поймал две гильзы и долго не мог послать их в стволы.

Несколько секунд стояла такая нервная тяжелая тишина, после которой неминуемо все должно обрушиться, загрохотать. И захотелось сорваться с мягкого тулупа, закричать, чтобы заглушить бой сердца.

Джейраны переминались с ноги на ногу, мотали головами, силясь отделаться от слепящего света. Они высоко поднимали ноги, били копытцами невидимую землю и мелкими прыжками, боком, старались выбраться из заколдованного круга.

— Побегут — за первым пойдешь,— прошептал Бритов.— Первый — рогач! Давай вперед, осторожно...

Услышав мотор, джейраны встрепенулись и, позабыв друг о друге, бросились в разные стороны. Самка гордо запрокинула голову и скрылась в ночи.

И все завертелось. Степь покачнулась, смешалась с небом и бешено полетела навстречу. Впереди сверкали звезды, глаза джейрана, опять звезды, мутной пеленой мчались мимо пески. Газик натруженно заревел, взлетел на бархан, прожектор толстой иглой света тупо уперся в ночное небо — под нами чернела пропасть и мы ухнули туда, как в прорву; подкинуло, брезентовый верх треснул по спине, затылку — от встречного ветра брезент был деревянным,— прижало к бритовской спине и меня обуял сладкий ужас: «Разобьемся!»

Как из колодца вырвался разгульный и дикий рев Бритова:

— Держись! Лови свои печенки!

На одно мгновение я увидел посеревший горизонт — кончалась ночь,— он встал дыбом, да так и впечатался в память. Газик ударился в ствол саксаула, взвизгнул и охнул Степан, будто удар пришелся по его неровной, острой кверху голове.

Джейран несся сломя голову, косил фосфорными глазами на прилепившийся к нему белый луч. И как только луч вонзался в его глаза, они вспыхивали, и джейран начинал метаться, нелепо прыгать вперед, словно каждый прыжок был последним.

Бритов сжимал двухстволку и стонал:

— Пора! Ну, стой! Ну!..

Только на секунду Степан придержал машину и Матвей Палыч вскинул к плечу свою тулку. Я зажал ладонями уши и закричал.

— Не надо!

Бах!

Бежит!

Бах!

Бежит!

В ноздри шибануло горелым порохом.

— Э-э-эх-х! — Степан скрипнул зубами и газик бросился вслед за картечью. И белый луч опять начал хлестать джейрана. Рогач медленно рос в глазах. И Бритов заметил это.

— Сте-е-па-ан!

Газик рыкнул, что-то подмял под себя, смешал нас в кучу, и вот он, джейран! Рядом!

...Да он уже и не уходил — стоял мордой к нам, храпел, и с шевелящихся губ на песок скрапывала слюна.

— Сте-е-па-ан!

Визг тормозов.

Бах!

Картечь пробила легкое — из левого бока вместе с воздухом тонкой цевкой ударила кровь.

— Не уйдет! — Степан ломал руками баранку.— Ну! Ну!..

Бах!

Джейран упал на колени, ткнулся мордой в песок, потом подломились задние ноги. И оглушительная тишина. Только устало тренькало железо...

— Ну что ты молчишь? Дальше, что же было дальше?

Он по-прежнему смотрел на меня и ждал ответа. А я не мог сказать мальчишке правду, потому что должен был остаться для него честным и добрым. Я вынужден был лгать. И я солгал.

— Дальше? ... И люди подняли ружья и прицелились в глаза Чернохвостого. Но когда до выстрелов осталось мгновение, эти глаза вдруг вспыхнули тысячью солнц, из них полетели голубые молнии и они ослепили людей. Люди побросали ружья, они закрывали руками лица и просили отвести от них эти слепящие молнии, которые сделали их беспомощными и жалкими.

Тогда Чернохвостый гордо повернулся и умчался в ночь. Ослепленные люди кричали от страха, молили о помощи. И как только на востоке загорелась полоска рассвета, они вновь обрели зрение.

А Чернохвостый был бесконечно далеко, он стоял на вершине высокого бархана и смотрел, как встает солнце...

Я глянул на мальчишку и облегченно вздохнул, он спал и улыбался во сне. Наверное ему снился хороший сон.

На моем столе лежат рога Чернохвостого. Оказывается, мой сосед Бритов сохранил их и через несколько лет все же подарил мне. Я не отказался — взял, и сколько потом ни порывался спрятать их подальше от глаз,— не мог.

Протока



Косули стояли тесным табунком и слушали, как трещит на протоке лед.

Начиналась весна, с реки в протоку прибывала вешняя вода, она упрямо давила лед изнутри, вместе с солнцем подтачивала его крепость, и лед, сжатый до звона промерзшими берегами, тяжело охал и стонал.

Остров лежал между рекой и протокой. В его тальниковой глубине резко и пронзительно кричали рогачи. Гон у косуль давно прошел, но после этих коротких вскриков косули трепетали и начинали беспокойно бегать по тесной прогалине.

Каждую зиму, повинуясь вечному и всесильному инстинкту, косули приходили на остров. Сначала — далеко в степи — они табунились, рогачи сходились в драках; пригнув головы с точеными, острыми рогами, молча, они отстаивали свое право на короткую любовь. А потом, когда подруги были поделены и чутье подсказывало косулям, что лед на протоке будет крепок еще неделю-две, они покидали степь и по тропе своих предков шли на остров.

Они шли на остров, потому что здесь у них не было врагов. Только один запах часто настораживал косуль, но из года в год они слышали этот запах и привыкли к нему.

Уже случалось, что по нескольку дней кряду солнце грело землю, тогда под высокими берегами протоки звенела капель, закаты держались долгие и чистые, и среди птиц и зверей были сильны любовь и заботы о будущем потомстве.

Инстинкт не обманул косуль, они вовремя перешли протоку,— в полыньях, когда солнце грело особенно теп-

ло, показывалась рыба. Потемневшие от холода сазаны хватали ртами воздух, пахнущий сырым снегом и отпотевшей корой деревьев. И будто убедившись, что еще рано выходить на реку и плыть к местам икромета, они исчезали в глубине. И косули видели это.

До того, как совсем затяжелевшие, они найдут непролазные буреломы и залягут в ожидании потомства, еще было время. В ожидании его косули обходили остров и настороженно отмечали случившиеся за время их отсутствия перемены. Каждая носила в себе потомство, и косули двигались осторожно.

На эту прогалину они пришли не случайно. Косули помнили — здесь остался большой сланец соли лизунца. Сейчас он оттаял, и косули жадно слизывали его. Опять их преследовал этот еле уловимый запах, но косули думали, что он исходит от сланца и потому были спокойны.

Тихон давно сделал свое дело — пересчитал и запомнил косуль, и можно было бы уходить, но он не смел пошевелиться в тесном скрадке, выдать свое присутствие и все смотрел и смотрел на степных пришельцев. Теперь до следующей зимы они будут его питомцами, а дети этих косуль решатся покинуть остров только через год после того как окрепнут и поймут законы жизни среди врагов и сородичей.

Когда же стало невмоготу от долгого сидения на корточках — тело заломило и начало неметь, он наконец решился — поднял с земли сухую веточку и переломил ее. Косули разом встрепенулись, напружинились, и, разгибая затекшие ноги, Тихон не заметил, как табунок исчез. Только долго еще слышался хруст снега.

Вокруг заметно посветлело, стали видны кусты, деревья, исчезли звезды, и еще Тихон заметил, что собирается утренний туман. Он подошел к тому месту, где топтались косули, достал из кармана несколько сланцев и раскидал их меж следов. Он еще был напряжен и старался не спугнуть тишину. Скрадывая шаги, бесшумно, он перешел по сырому льду протоку, поднялся к усадьбе по осклизлому берегу и начал отворять ворота конюшни. Зная, как они сухо, визгливо заскрипят, Тихон выругал себя за то, что поленился смазать скобы.

В это утро Тихон делал привычные дела с неожиданным наслаждением, все казалось ему новым и необычным. Кобылу он повел к полынье, которую пробил вчера. Полынья не замерзла — ночь была тепла, и это еще раз напомнило Тихону о весне.

Повод в руке был натянут, дрожал, и в этом егерь узнал буйную силу Ланьки, которая просыпалась каждой весной.

Тихону никогда не нравилась кличка кобылы. Ланька была молода, дика и своенравна, и кличка казалась Тихону неуместно тихой и мечтательной.

В другое утро, может быть, еще вчерашнее, Тихон бы властно натянул повод, намотал его на руку и раздраженно крикнул: «Поерепенься у меня!» — и обязательно бы замахнулся. Но сегодня он не торопил Ланьку, про себя несколько раз на разные лады повторил ее кличку и, хмыкнув, пожал плечами — он нашел, что кличка вполне хороша. И он еще раз, уже вслух, протянул:

— Ла-а-нь-ка-а!..

Кобыла, услышав свое имя, произнесенное так необычно, склонила голову, прибавила шагу и ткнулась губами в шею Тихона. Он удивленно обернулся, прямо перед лицом увидел глаза Ланьки и растерялся.

— Ты чего? Ты... ты это брось, ишь, лобызаться ей захотелось! Порядку не знаешь? — и, бросив повод, он обеими руками потрепал Ланьку за ушами.

Серые яблоки на ее теле, подпалины на груди и ниже — на трепетавших мускулах ног — казались в первом свете клочьями кострового дыма. Забыв подобрать повод, Тихон шел рядом с Ланькой и вдруг удивился себе. Он покачал головой, выскреб из кармана крошки соли и протянул их кобыле. Губы ее были влажны и холодны, из ноздрей в ладонь ударили две упругие, горячие струйки.

— Ну ты, не шуми спозаранку, не шуми! — все еще полушепотом приговаривал Тихон, будто рядом кто-то спал чутким сном.

Но Ланька напрочь изломала тишину. Зачуяв воду, кобыла нетерпеливо переступила, неистово забила копытом в берег, он тяжело загудел, и покатился над протокой хруст мерзлого песка.

Потом стало слышно, как Ланька жадно тянула воду, всхрапывала. Тихон стоял в стороне, курил и смотрел, как парит чистая ото льда вода.

Когда Ланька напилась, он повел ее обратно по крутому берегу, к коновязи. Кобыла легонько упиралась и просила вернуться. Тихон подумал, что поездку жены в райцентр можно было бы отложить назавтра, да теперь уж поздно — пути не будет. Он приостановился.

— Давай не сегодня, а? Сегодня тебе ехать надо.

Запрягал он долго, с удовольствием перебрал всю сбрую, зачем-то попробовал ее на крепость. Потом обошел вокруг летние дрожки и представил степную колею и дробный перестук копыт.

Когда дрожки были готовы к дороге и из дому вышла жена, он протянул ей кнут.

— Ты только не шибко ее охаживай. Она застоялась, повод дай — сама пойдет. Да не забудь Лешке крючков купить, скоро рыбалка подойдет. Ну, хозяйствуй.

Тихон вошел в дом и уже в сенях понял, что сын проснулся. Лешка сидел на кровати, болтал ногами, и кровать поскрипывала на разные голоса.

С вечера Лешка твердо решил встать вместе с отцом и помочь ему запрячь Ланьку, а матери собраться в дорогу. Но утром от этого намерения не осталось и следа. Сквозь сон он слышал, как скрипели ворота конюшни, как затворилась за матерью дверь, как простучали и стихли колеса дрожек.

Сейчас Лешке больше всего хотелось сорваться со скрипучей кровати, босиком промчаться по косогору на берег, а потом — по песку! И было бы совсем хорошо, если бы на протоке с ночи стояла рыболовная снасть.

Несешься вдоль берега и издалека видишь, что ночь закиды простояли не впустую — лески вздрагивают, опадают, натягиваются, и вдруг как ружейный выстрел ударит по ушам звон сигнального колокольчика!.. Но глянув в подернутое инеем окно, Лешка подумал, что это время еще не пришло.

Из сеней Тихон нарочно озабоченно спросил:

— Что ж делать-то будем, Лешка? Без матери справимся?

Лешка с готовностью соскочил на холодный пол.

— Справимся. Тут наших с тобой делов много, лодки вон надо смолить, да на реку пройти, глянуть, может, утки прилетели. Тут мать нам не помощник.

— Надо говорить не делов, а дел. Понял?

Лешка быстро согласился — яростно закивал головой и по голосу отца понял, что следить уток они пойдут вместе.

— Только лодки давай ночью смолить, давай, пап?

Лешка вспомнил, как в прошлую весну они до полуночи топили смолу, ворочали тяжелые лодки, и Лешке все казалось что без него отец никогда бы с ними не справился. А после работы они напились чаю, и Лешка лег спать вместе с отцом.

Это счастливое время всегда выпадало на время каникул, и Лешка считал каждый день, потому что готов был жить так вечно. Он по привычке начал подсчитывать драгоценное время, но увидел свой портфель и вспомнил — сегодня только первый день каникул!

Лешке стало тесно и жарко от нахлынувшей радости, он бочком — мимо отца — выскочил в сени и подержал в руках отцовское ружье, старую тулку.

Он водрузил ее обратно на гвоздь, который когда-то был забит с таким расчетом, чтобы Лешка не смог достать двухстволку. Но Лешка вырос, а про гвоздь забыли, и теперь ему, хоть и с трудом, но удавалось дотянуться до предмета своего заветного желания.

Грохнув кружкой о ведро, будто он ходил всего лишь напиться, Лешка крикнул из сеней:

— Пап, а косуль сколько видел?

— Четырех видел. Штук восемь слышал. Нынче много гостей!

— Значит, на зиму работа будет, а?

Пока Лешка довольствовался только расспросами. Ох, как хотелось ему хоть один разок очутиться рядом с отцом при пересчете зверей, но Лешка знал — какое это трудное дело и он может запросто все испортить. А попробуй-ка потом исправь положение! Опять надо выслеживать, искать косульи тропы, приучать солью или зерном к одному месту... Одним словом — трудное дело, пока непосильное для него. Это Лешка понимал отлично и терпеливо ждал, когда отец вернется с острова. А потом солидно расспрашивал — как и что там?

— Будет работа, это уж как повелось. Это во-первых, а во-вторых, если ты еще раз без спросу возьмешь ружье — поругаемся мы с тобой. Так и знай!

Обескураженный Лешка вошел в комнату и слишком тщательно, что на него не было похоже, начал заправлять постель.

— А если взял, так повесь с толком! Кто же ружье вверх стволами вешает?

Лешка еще упорнее завозился с покрывалом, засопел и с тоской подумал: «Не возьмет теперь на уток!»

— Я пока в конюшне вычищу, а ты завтракай и собирайся — утку пойдем встречать!

Они шли берегом протоки к реке. Их дом, сарай, сколоченный из березового горбыля, остались далеко поза-

ди, а впереди был только утренний туман и в нем — черными провалами кусты ченгеля, тальника и желтыми — камышовые колки. Вслед от дома лесничего летело безостановочное и глухое уханье топора.

Тихон шагал впереди, неторопливо, мягко. Он уже привык ходить крадучись, и двухстволка на его плече не покачивалась и не мешала ему — она словно срослась с его телом. В кармане у Тихона позвякивали два патрона.

Лешка семенил следом и строил самые радужные планы насчет этих патронов. Он почему-то был уверен — утки уже прилетели и отец их не видел только потому, что для перелетов еще холодно и утки прячутся под речными берегами — ждут тепла. А на реку отец без Лешки не ходил. Конечно же, они здесь, иначе зачем такое утро, этот недолгий путь и зачем два патрона в кармане отца?

Аю — молодой овчарке положено было бежать у ноги Лешки, и Аю трусил неторопливо и совершенно безразлично — только монотонная рысца и опущенные к земле трепетные ноздри.

Река была совсем чиста, она гудела от избытка вешней воды и неслась к Балхашу мощно, стремительно.

Они остановились поодаль от берега среди нестаявшего снега, и далеко были видны три фигурки: два человека — большой и маленький — и собака.

Здесь весна особенно была близка, потому что от берегов пахло мокрой землей, а с реки — снеговой, талой водой. Они стояли молча и слушали упорное гудение реки. Аю раньше людей услышал эти звуки и запахи, но теперь они были особенно остры, и он встревожился — тело его задрожало, уши, нос вздрагивали нервно и чутко.

Не сговариваясь, и Тихон, и Лешка знали, где каждую весну надо ждать уток. Они было направились туда, как уже чистое от тумана утро раскололось от властного крика селезня, и они увидели его!

От прошлой весны их отделяла долгая зима, и Тихон не сдержался — скинул с плеча тулку, переломил ее, да так и застыл. А Лешка рванулся вперед и закричал.

— Я же говорил! Прилетели! Я так и знал!

Тихон вздрогнул от этого крика и смущенно подобрался. Как странно, каждый год они приходят сюда, слушают реку, первых уток, и всегда в этот выход бывает удачный выстрел. Но как все это ново и как весны не похожи одна на другую.

Таким же было утро и для Лешки, и он уже не мог терпеть, а когда над головой просвистела кряква, он кинулся к отцу.

— Пап! Ну что же ты!..

Тихон протянул сыну двухстволку и дал один патрон. Лешка сунул его в ствол и вопросительно посмотрел на отца.

— А в те разы ты два давал...

Тихон усмехнулся.

— То было в те разы. Теперь учись обходиться одним патроном. Второй мне будет. Иди!

Вдоль берега тянулся низкорослый лес, сплошь кустарник и редкие деревья тала и джигиды. Ветер сюда не проникал, и в лесу было тепло и душно. Лицо, руки Лешки пылали сухим жаром. Он остановился, ничего не слыша, кроме колотящегося сердца, расстегнул верхние пуговицы фуфайки и увидел, что весь лес — каждая веточка, прошлогодняя трава — мокры. Как после хорошего дождя все блестело, капельки воды вспыхивали, переливались, и Лешка понял — встает солнце!

Лес этот прерывался только на излучинах реки, там вода была спокойная, она медленно кружила в омутах ветки, старые листья, пену. И там должны быть утки.

Шел он осторожно, тщательно обходил лужи, которые, как обломки большого зеркала лежали на тропинке. Вода из луж ушла в землю, остался только тонкий полый ледок, и Лешка знал, как оглушительно он трещит под неловким шагом.

Несколько раз он вскидывал ружье, маленькое плечо не умещало огромного приклада, и Лешка с опаской думал о выстреле и жесткой отдаче. Когда впереди поредело и можно было идти без тропы, он взвел курок.

Под берегом уток не оказалось, Лешка разочарованно остановился, оглядел пустынную излучину и в тот же миг сердце опять заколотилось — он упал, вжался в землю. От реки прямо на него летели две кряквы! Они заметили человека слишком поздно, прямо над Лешкой уперлись крыльями в воздух, смешались в коричнево-изумрудный ком и с криками рванулись вверх!.. Лешка вскочил, вскинул тулку, успел увидеть красноватые перепонки лапок, раскрытые в крике клювы и выстрелил. Обе кряквы разом обмякли, переломились, ударились в воздухе друг о друга и с глухим стуком попадали на землю. Над Лешкой висели дым, перья, бумажная пыль

разбитого пыжа, а над лесом, рекой покатилось «тааа-ау-уах!»

Кряквы сгоряча рванулись, но крылья застучали слабее, мельче, распустились по земле веерами и стихли.

Немного подождав, Тихон пошел вслед за сыном, сейчас егерь стоял на краю леса и с легкой завистью наблюдал за Лешкой. Увидев отца, Лешка поднял над головой уток.

— Э-э-эй! Е-е-е-есть!

Не чувствуя тяжести двухстволки и добычи, Лешка понесся к отцу.

— Они как налетели! Я как вскочил, а они вверх, а я!..

Теперь отец шел позади и налегке — ружье и добычу нес Лешка. Он не заметил, как кончился лес, как начался берег протоки и показался их дом. Плечо саднило, перед глазами стоял клочок неба, концы стволов и замершие кряквы.

Стало совсем тепло, они часто останавливались, снимали фуфайки, шапки, толкали их под ремни на поясах, разглядывали уток и по очереди взвешивали на ладонях похолодевшие тушки. А когда отец приговаривал: «А что, хороши, по всем статьям хороши!» — Лешка и вовсе терялся от счастья и опять, сбиваясь и крича, начинал рассказывать, как все произошло.

Дом был уже совсем близко, когда Лешка присел и потянул за собой отца. Прямо у ограды токовали фазаны. Увлеченные брачной дракой, позабыв всякую осторожность, пары петухов, кружа и наседая друг на друга, выскакивали прямо на огород. Но их бои за курочек проходили без особой ярости, петухи сердито цокали и угрожающе трещали крыльями по земле до тех пор, пока один из них не сдавался и не убегал в кусты искать более сговорчивого противника.

На острове, совсем, как собака, тявкнул лисовин, и петухов как ветром сдуло. Сразу воцарилась тишина, и стало особенно слышно, как борется с весной лед, звенит капель,— как уходит еще одна зима. «Надо бы его капканами обложить, не то выводки подавит»,— решил Тихон и подтолкнул Лешку.

— Ишь, токуют, щеголи. Ну, пошли.

Лешка вбежал в дом, оставил в сенях уток, ружье и начал собирать ружейное масло, шомпол, тряпку, чтобы почистить тулку. Тихон присел за стол, положил перед собой руки и молча следил, как хлопочет сын.

Каждую весну Тихону казалось, что вот теперь-то многое изменится к лучшему, жизнь впереди была неизвестной и потому прекрасной. Может быть, это случилось не так, но сейчас Тихон был твердо уверен, что его жизнь началась с такого же утра — сначала тихого, туманного, а потом звонкого и чистого, и что Лешка будет помнить себя именно с этого утра.

Когда это было? Давно, на Желтой косе он вместе с отцом стрелял пролетных гусей. Отец нарочно запаздывал с выстрелом, и Тихон, побледневший от азарта и страсти, бил по налетающей стае дуплетом, сталкивал на воду лодчонку и греб к убитым птицам. Голубая вода медленно сносила лодку, гусей, выбитые дробью перья, а Тихон, свесившись за борт, хватал гусей и бросал их в лодку...

— Пап, капканы на лису поставим, а?

Лешка разом вернул отца в эту комнату, к ее старым и новым вещам, к этому столу, который когда-то был очень высок для Тихона и ножка стола не помещалась в его обеих ладонях. Тихон очнулся и рассеянно улыбаясь сказал:

— Поставим, Лешка, обязательно поставим! Мы этому лисовину покажем выводки!

Собрав все принадлежности, Лешка принялся драить стволы. Он глядел их на свет и жмурился — глазу было больно от тысячей солнц, сверкавших на никеле. Закончив работу, он повесил на гвоздь тулку, побежал в угол двора выбросить промасленные, в пороховой копоти тряпки и вдруг, сраженный неожиданным открытием, остановился как вкопанный. Он вспомнил, что второй патрон так и остался в кармане у отца. Отец не стрелял, он хотел чтобы первая охота принадлежала Лешке, только ему. И Лешке стало совестно за то, что он даже не вспомнил об отце, когда сбитые кряквы упали на землю и он что-то кричал, смеялся, прыгал... Он должен был разделить с отцом радость удачи, а теперь поздно — вряд ли такое может повториться!

Солнце валилось за горизонт медленно, неохотно. В такие минуты Лешка останавливался там, где его заставал закат. На солнце можно было смотреть спокойно, как на раскаленные угли в костре, и Лешка глядел, как оно багровело, затуманивалось. Тогда и красные тальники наливались синим светом, а потом и вовсе становились иссиня-черными. Снег мерк, чернел на глазах,

и Лешке вдруг почудилось, что наст скрипит под чьими-то ногами.

Вечерами Лешка думал, что степь все же имеет края, там, где пропадает солнце — один край, а там, где в это же время загораются первые звезды — второй. И когда вместе с солнцем исчезал последний сизый свет, казалось, что степь невелика и ее можно вымерять шагами.

Так думал Лешка, пока в степи не стало совсем темно и тихо. С крыльца трудно было разглядеть одинокий куст ченгеля, росший посреди двора, летний столик, на котором лежал снег всех снегопадов. Над островом висело черное небо, полное больших и чистых звезд. И от мертвого звездного света светился лед.

Смолить лодки не хотелось, и Лешка обрадовался, когда отец решил перенести это дело на утро. Они только вынесли на берег треногу, котел со смолой и развели под ним костер. Потом кряхтя и беззлобно ругаясь, волоком вытащили к костру лодки и сели у огня.

Тихон и Аю сидели неподвижно и смотрели на огонь. Каждый из них думал о своем. Дичь на острове угомонилась, лед в протоке кряхтел, шуршал монотонно, усыпляюще, и ничто не могло нарушить тех мыслей, которые приходят у костра. Дрова потрескивают, шипят, бросают к ногам искры, и весь мир сомкнулся вокруг огня.

Лешка тоже немного посидел рядом, на этот раз думать ему было не о чем, и он взял кусок смолы, замотал его в паклю, поджег и побежал по ночному берегу. Факел горел густым красным огнем, на песок падали капли расплавленной смолы, они продолжали гореть, и когда Лешка обернулся — к костру тянулась пунктирная горящая дорожка. Лешка никогда не летал на самолете, но, наверное, ночью именно так выглядят огни вдоль посадочной полосы.

Дальше бежать было некуда, впереди черным бугром стояла гостиница, будто от нее начиналась непроглядная темень, и Лешка поспешил обратно.

Раньше, Лешка помнит это время, на месте кирпичного здания стояла старая гостиница — срубленная на русский лад избенка, с широким, жестким топчаном, двумя тесовыми табуретками, сделанными при помощи одного топора.

Рядом с топчаном гудела раскаленная печка-буржуйка, она была на редкость прожорлива, ненасытно пожирала дрова, раскалялась, обливала все вокруг жаром.

Казалось, еще немного, она подпрыгнет и лопнет от распиравшего ее огня. Но дров никогда не жалели — от порога и до потолка всегда высилась поленица таловых чурок.

И саму гостиницу и все, что в ней было, кроме печки-буржуйки, сколотили из досок разобранной кошары, и в избенке пахло овечьей шерстью и молоком. В ней было уютно, даже маленькому Лешке гостиница казалась тесной, печка освещала все четыре стены, все было рядом, под рукой, в щелях оконца жили какие-то паучки. Они и зимой вязали паутину. Лешка мог часами просиживать у окна — следил за работой паучков и сравнивал морозные узоры на оконном стекле и кружево паутины.

А новая гостиница пугала Лешку своей необъятностью. Солнце еще не село, а в гостинице уже ночь, в темноте начинают поскрипывать кровати, половицы, под полом затевают возню мыши. Мать частенько косилась на гостиницу и недовольно говорила.

— Отгрохали казарму, смотреть тошно!

Только в охотничий сезон у Лешки начинал появляться интерес к «казарме»: в это время, бывало, наезжали охотники — некоторые с собаками и такими ружьями, каких Лешка никогда не видывал.

Даже в разгар сезона приезжих было не много, но жизнь на участке менялась, как меняется она с приездом нового человека в край немноголюдный, где все знают друг друга и все идет размеренным, давно установившимся порядком.

Приезжали охотники чаще всего к полуночи, а то и всю ночь до рассвета подходили машины. Дорога от города до охотхозяйства неблизкая. Приехавшие загоняли машину во двор, глушили мотор и сразу шли в дом егеря.

Отец поднимался с кровати, зажигал керосиновую лампу, набрасывал на плечи полушубок и садился за стол проверять охотничьи билеты, оружие, лицензии на отстрел дичи. Охотники из города заискивающе вертелись вокруг отца, дарили пачки патронов и задавали уйму глупых вопросов — есть ли дичь, где лучшие места, не холодно ли ночью спать?

Высунувшись из-под одеяла, Лешка видел, как отец, закончив проверку, вставал из-за стола, как что-то ненужное одним махом отодвигал от себя пачки патронов:

— Это заберите — мне ни к чему. Дичь есть везде, это моя работа, чтоб дичь была. А спать — охота с па-

ровым отоплением — не охота. Желаете — топите печь, дров я принесу.— И, держа перед собой лампу, вел охотников в гостиницу.

Растолкав по карманам документы, они вываливались из дома шумной гурьбой, покрикивали на собак, возбужденно смеялись. Потом, гулко топая сапогами, слонялись по гостинице — ждали рассвета.

Дверь беспрестанно открывалась и закрывалась, хлопали дверцы машин — охотники доставали свои рюкзаки, дорожные мешки, начинали есть, пить. Скоро мимо окон опять проплывали огоньки папирос, земля под ногами ходивших хрустела ледком, гукала — начинали прогревать моторы, сливалась из радиаторов вода. Между машин, путаясь в ногах у людей, носились очумевшие дурашливые собаки, они лаяли, то и дело схватывались между собой, и в участке стоял такой гвалт, что Лешке становилось не по себе.

Подавленный неожиданным многолюдьем, Лешка тосковал и переживал за отца. С приездом охотников Тихон мрачнел, становился сухим, деловитым. Утром, проводив всех на охоту, и еще раз предупредив, чтоб «охотили только птицу, за косулю — голову оторву», Тихон начинал бесцельно бродить по берегу и страдал, когда до него доносилось эхо выстрелов.

Эта бесцельная ходьба продолжалась весь день. Тихон брался за какое-нибудь дело, бросал его и опять шел на берег — слонялся, пинал щепки, льдинки. Как и каждый егерь, Тихон мучался от присутствия вооруженных людей в охотничьем хозяйстве и втайне надеялся, что им не повезет. Вечерами он далеко от дома уходил встречать охотников. По мере их возвращения лицо Тихона прояснялось, он веселел, и только тогда Лешка решался приблизиться к отцу.

Часто охотники возвращались налегке, и Лешка видел, что они почти равнодушны к тому — пуст или полон ягдташ. Здесь начинались бесконечные разговоры о том, что фазаны как по сговору вылетали «не с руки», и что «дура Бильда» не под выстрел подняла петуха. При этом хозяин провинившейся Бильды замахивался на нее, и охотники начинали реготать, но сообразив, что срамить собаку на людях — не дело, он с напускной злобой бросал в Бильду шапкой, она бережно брала ее зубами и, став лапами на грудь хозяину, пристраивала шапку на ее законное место.

Потом охотники все разом брались варить похлебку

из двух-трех добытых всеми фазанов — собирали дрова, ощипывали петухов. Тут включался в дело и Тихон, выносил из дома большую кастрюлю, а из сарая — треногу. Собаки теснились вокруг обдиравшего дичь, прямо из рук выхватывали перья, потрохи и рыча носились по двору, возили их по земле. Все приготовления сопровождались разговорами о трех косулях, которые выскочили «прямо с носа» уже известной Бильды и «пошли в верха острова...»

Лодки, приготовленные для починки, напомнили Лешке, что скоро сезон и охотники приедут на утиную тягу. Тихон по-прежнему смотрел в огонь и думал. Лешка сел рядом, притих и, завороженный костром, тоже задумался.

Почему отец так меняется с приездом охотников и почему с ним ничего не происходит, когда он выходит на охоту с ним, Лешкой? Наоборот, он волнуется, ждет удачу и особенно радуется и ценит ее, если Лешкин выстрел бывает удачным. Ведь в сущности случается одно и то же — и охотники, и Лешка убивают дичь, а именно это больше всего мучает отца.

Лешка покосился на отца и уже собрался поговорить об этом, но промолчал. Он почувствовал: об этом нельзя говорить, иначе можно все испортить. Это должно пониматься без слов, и пусть все остается так, как есть.

Солнце только осветило остров первыми лучами — пронзительные весенние краски вспыхнули и тут же поблекли. Над протокой, охотхозяйством сгрудились тучи, полные буйной непогоды.

Стараясь не разбудить сына, Тихон пробрался в сени, надел егерскую фуражку и пошел на берег. Меж деревьев, кустов, колков камыша плыл клочковатый туман, с высокого яра он стекал в протоку и таял над водой.

Птицы молчали, не токовали фазаны. Залегли косули. Стайка уток вынеслась из тумана и, почти натолкнувшись на Тихона, взмыла над его головой в низкое дымное небо. Он вслушивался в утро, надеясь услышать хоть один звук жизни, но остров, казалось, вымер.

Борта лодок отпотели, на них выступили серебристые капли воды, и было похоже — лодки облеплены рыбьей чешуей. Тихон раздул огонь и с удовольствием ощутил, как вокруг него высыхает воздух и настаивается тепло.

Опять от дома лесничего покатилось размеренное гуканье топора и стон тесины... Гухк-до-он-нн... Звуки мягко скатывались к Тихону с крутого берега, катились мимо него и вязли, глохли в тумане.

Тихон прислушался к своему телу и нетерпеливо повел плечами — оно просило тяжелой и нужной работы. Егерь еще постоял немного у огня, ему приятно было думать и ждать, как через несколько минут он будет ворочать лодки, забивать паклю в прохудившиеся борта и заливать проконопаченные щели смолой. Закончив работу, он дотащит лодки до закраины и, обламывая лед, столкнет их на воду... Тихон любил лодки на воде — в нем оживало томительное предчувствие дорог и редких происшествий.

В следующую секунду Тихон вздрогнул и удивленно посмотрел на остров, темной громадой проступавший сквозь туман. С острова, перекрыв гуканье топора, шаром выкатилось эхо выстрела и развалилось, будто лопнуло. «Та-ау-аххх!» Еще не веря себе, Тихон растерянно забегал по берегу. «Как же это, никак стреляют! Как же...» И сейчас же на осторове выстрелили второй раз. Этот выстрел не рассыпался, а ударил по ушам коротко и хлестко.

Забыв обо всем на свете, Тихон кинулся в дом, схватил вдухстволку, патронташ и, не выбирая дороги, побежал через протоку, перепрыгивая полыньи, трещины. Лед, как резиновый, прогнулся под ним, в сапоги хлынула вода. Растерянность прошла, Тихон понял, в чем дело, и в нем начала подниматься злоба. «Ишь, стреляет! Ну-ну, сейчас ты у меня постреляешь!»

Аю обогнал хозяина на середине протоки, одним махом одолел крутизну берега, нырнул в бурелом и понесся на выстрелы.

Пробегая редколесье, человек шарахался, шнырял меж бугристых стволов джигиды, спотыкался и поминутно хватался руками за грудь. Земля падающим листом качалась перед ним, а собачий лай был все ближе и ближе. Из кустов с оглушительным треском и цоканьем вылетел фазан, человек испуганно закричал и кинулся в сторону. Он бежал, прижимаясь к земле, втягивал голову в плечи, будто ждал, что вот-вот его ударят чем-то тяжелым. Его все больше заполнял панический страх, отбиравший последние силы: «Догонит! Ох, пропаду я...»

Шатаясь, он добрался до протоки и, не раздумывая, бросился с яра на лед. «Если уйду — отсижусь у чабанов, небось не выдадут, а там попробуй, докажи...» Он сделал несколько шагов и услышал с острова заливистый собачий лай и крик егеря.

— Аю, взять! Взять его!

Человек со страхом понял: этот Аю достанет его на голом льду и тогда — все! «Скажу, что заблудился... а стрелял, чтобы нашли... А-а-а, чепуха! Косуля-то легла, как срезанная, а он ее видел... Ох, пришьют дело, не расплатишься!..»

В бессильной ненависти к егерю он затравленно заметался по льду, собачий лай был совсем рядом, и человек вспомнил, что в стволах ружья картечь!

Обрушив берег, Аю кубарем свалился на лед и осел на задние лапы. Шерсть на нем дыбилась и перекатывалась волнами, уши были прижаты к затылку.

— Аю, это ты брось... Аю, Аю,— человек заискивающе улыбался и пятился к другому берегу.— Иди, Аю, домой, домой иди...»

«Если пойдет — черта с два ты меня поймаешь».— Он прятал за спиной двухстволку и с ужасом смотрел на овчарку. Она не двигалась, и в человеке шевельнулась робкая надежда: «Может, не тронет?..» Но с острова опять донеслось:

— Аю, держать, держать его!

Заслышав голос хозяина, овчарка подобралась и припала ко льду. Человек знал, что последует за этим — надеяться теперь было не на что,— и он вскинул ружье. Но опередить Аю не успел — отшатнулся и прикрыл лицо руками, когда собака взвилась в воздух.

Лешка протер глаза и прислушался — было подозрительно тихо. Он позвал отца, и в ответ затренькали оконные стекла да с протяжным скрипом открылась плохо затворенная дверь. В сенях он обнаружил отсутствие двухстволки и в полном недоумении вышел во двор. Костер уже не горел, он густо чадил, и сладкий дым синими слоями лежал на берегу.

От нечего делать Лешка поворошил в костре, попробовал сдвинуть с места лодку и, вздохнув, побрел вверх по берегу. Лешка изнывал от безделья и был готов обидеться на отца, но сдерживал себя, догадываясь, что у

отца появилось срочное дело и он не успел его предупредить.

Лешка приостановился и начал лихорадочно соображать: что можно осуществить, пока нет отца? Это положение давало ему массу преимуществ — можно было делать все, что угодно, но именно в таких случаях ничего дельного Лешке на ум не приходило. И, сдвинув брови, насупившись, Лешка торопился придумать себе занятие, достойное появившейся самостоятельности.

А поющий ветер? Лешке даже стало не по себе — как он мог забыть свою тайну! Поглубже нахлобучив шапку, он побежал к далекой череде барханов. О своем открытии, которое было сделано совершенно случайно, Лешка никогда и никому не говорил, даже отцу. И от этого оно было исполнено особой таинственности.

Нужно было пройти между двух крайних барханов — ровно сорок шагов, остановиться лицом к одному бархану и спиной к другому. И тогда, с какой бы стороны ни дул ветер, он начинал петь!

Песня была односложной, заунывной, гул поднимался медленно, делался все тоньше, острее, Лешке начинало казаться, что еще немного — невидимая струна лопнет, и ветер просто задребезжит... Но, достигнув воющей высоты, свист разом спадал, на несколько секунд становилось тихо, и Лешка облегченно вздыхал. А потом опять, словно из самой глубины барханов, рождался гул, сначала низкий — и все тоньше, выше...

Каждый раз Лешка сравнивал это гудение, переходящее в свист, с другими звуками, но ничего хорошего песня ветра ему не напоминала. Лешка слушал ее в одиночестве и, может быть, потому она походила на волчий вой, бесноватую метель и даже — Лешка так решил — визг рикошетной пули. От этих сравнений Лешке делалось жутко, он еще немножко слушал, терпел, а потом поспешно делал шаг в сторону, и страх пропадал — вокруг было тихо, и через верхушки барханов виднелся дом. Лешке нравилось стоять вот так, слушать жуткую песню ветра, пока по телу не забегают мурашки, зная, что в любую секунду можно отойти в сторону и прийти в себя.

Добежав до барханов, Лешка отдышался, нашел место, на котором слышна песня ветра, но тут же ему стало не до своей тайны. Совсем близко, на склоне бархана, сидел заяц! Лешка почти упал на песок и даже прищу-

рил глаза, ему показалось, что он встретился с ним взглядом.

Заяц вел себя странно: он подолгу, не двигаясь, сидел на одном месте, потом как-то с ленцой заваливался набок, опять садился и часто встряхивал головой. В лешкиной голове вертелась смутная догадка, он видел — неведомая сила держит зайца на одном месте и, видимо, давно — на кусте висели клочья пуха, значит, косой много раз порывался бежать, обезумев бросался в разные стороны, и каждый раз эта сила возвращала его обратно под куст, пока заяц не обессилел и не смирился.

Он подошел поближе — догадка была верна, заяц попал в петлю. Косой равнодушно отнесся к появлению человека: только когда Лешка склонился над ним, косой закричал, как кричат в страхе маленькие дети, прыгнул прочь, но проволока дернула его обратно, и косой покорно лег набок. Лешка раздвинул петлю и высвободил голову зайца, тот опять испуганно закричал и совсем обзумев от страха, часто падая и перекатываясь через голову, поскакал вниз с бархана.

Лешке стало страшно. Где-то рядом находятся браконьеры, они могут в любую минуту явиться проверять петли и уж, конечно, по головке они его не погладят. Лешка выбежал на бархан и до боли в глазах начал смотреть на свой дом, но во дворе по-прежнему было пустынно — отец и Аю еще не вернулись.

Он должен немедленно что-то делать! Но что? Озираясь по сторонам, Лешка лихорадочно соображал: бежать к леснику! Лешка рванулся было с бархана, но сейчас же остановился. А вдруг это дело рук лесничего? У Лешки не было никаких оснований подозревать соседа, но вокруг — на десяток километров — безлюдье, не могли же браконьеры свалиться с неба? Тем более петли ставят на несколько суток, значит, они шныряют в охотхозяйстве не первый день... Но почему же тогда отец не заметил их?.. Нет, это невозможно!..

Браконьеры могут ставить до пятидесяти петель, а находят потом далеко не все. Значит, одно из двух: либо они еще не проверяли петли, либо уже проверили, а к этим подойти побоялись — слишком близко дом егеря. Выходит, ставили петли ночью?..

Первый раз в жизни Лешка почувствовал, как много зависит от него, если он придумает, как не спугнуть браконьеров и сообщить о них отцу. Но решение пришло

само собой — впереди сидел еще один заяц, под шкуркой проглядывали ребра, пух почти вылез...

Лешка устало опустился на песок, когда в руках было уже десять петель. Браконьеры буквально опутали барханы проволокой. Один из зайцев так и не нашел сил убежать, он сидел, как игрушечный, качался из стороны в сторону и стриг ушами. «Умрет»,— тоскливо подумал Лешка и, чтобы не мешать косому, отошел подальше.

Вокруг заметно потемнело, остров был окутан туманом, и издалека казалось, что он качается, плывет в темнеющую сумеречь. Лешка не заметил, как пошел снег, когда снежинки упали на разгоряченное лицо, руки, он вскочил и огляделся. Остров пропал в белесой пелене, барханы, которые только что виднелись слева — исчезли.

Не теряя времени, Лешка побежал в сторону острова. «Доберусь до протоки, а там берегом, и домой». Руки озябли, мокрая от пота рубашка задеревенела и железным обручом сдавила тело. Снегопад быстро проглотил все тепло, державшееся несколько дней, и ветер становился колким и злым. Уверенный в том, что он ушел не очень далеко от дома, Лешка бежал легко, безбоязненно и представлял, как удивит и озаботит отца своими находками. Отец обязательно найдет и поймает браконьеров, и Лешка уже придумывал слова, которыми он будет подтверждать — где, когда и сколько было снято петель.

На пути неожиданно встали камыши. Лешка сгоряча полез в них, продирался исступленно и, вдруг обмякнув, остановился — впереди блеснула черная речная вода. Лешка вспомнил, что потерявшийся в степи человек, не подозревая того, всегда ходит большими кругами. «Значит, протока ниже, надо выбраться назад...»

Лешка пошел обратно, шагнув в темноту, и по телу пробежал противный холодок — глухо затрещал лед, и Лешка услышал, как с яростным свистом из трещины ударила вода. И только сейчас он почувствовал, что земля под ногами «дышит». Это было болото, либо старый речной разлив. Ни того, ни другого Лешка не помнил на участке, противное предчувствие беды толкнуло Лешку обратно, к реке. Он вышел на берег и прислонился к низкому талу.

От воды тянуло холодом, ветер здесь хлестал безудержно, больно. Лешка заметил, как побелела ночь — снег усилился, и вдруг явственно услышал свою тайну:

ветер пел! Он выл, всхлипывал, трещал сухими ветками и жутко повизгивал. «Спокойно, отец говорил, главное — страх одолеть... спокойно... Здесь недалеко, только покричу, и Аю услышит... Только покричать надо...»

Но кричать Лешка не мог, в горле перехватило, он никак не решался нарушить эту черную, беснующуюся коловерть и, как заколдованный, слушал вой ветра. «Замерзнуть могу, надо в камыши уйти, там теплее...»

Но не мог он сдвинуться с места, ему казалось — хоть один шаг — и случится что-то жуткое...

Он ловил каждый звук и сразу услышал, что к вою ветра примешался новый звук,— будто где-то рядом рвали толстую материю... «Камыши трещат, ветер это. Или...— от этой догадки Лешку обуял ужас.— Кабаны!..» Лешка не узнал своего голоса — низкого, хриплого, и тотчас камыши наполнились треском, отчаянным визгом.

Да, это были кабаны, и они в панике разбегались! Лешка вытер шапкой вспотевшее лицо. «Ничего, они меня боятся, ничего... Это мне страшно, а папке-то нипочем, он меня сразу найдет. Ему пара пустяков меня найти, вот только позову Аю...» Он набрал полные легкие воздуха, зачем-то закрыл глаза и закричал так, что заломило в висках.

— Аю-ю-ю!.. Аю-ю-ю!..

Человек сидел на льду и остекленевшими от ужаса глазами следил за каждым движением овчарки. Он даже не повернул головы на подошедшего егеря.

— Держишь? Молодец!..

Тихон отдышался, подобрал ружье браконьера, снял цевье, выкинул из стволов патроны и только тогда с большим трудом оттащил в сторону Аю.

— Ну, добытчик, вставай!

Опасливо косясь на собаку, «добытчик» поднялся со льда и оказался маленьким нескладно скроенным мужичком. Он быстро-быстро моргал и, как цапля, вертел головой.

— Шапка моя где, а? Шапка говорю, г-где?..

Тихон поднял со льда замасленную шапчонку.

— На, надевай! Небось сдурел от страха? Пошли-пошли, у тебя все страшное впереди!

Мужичок злобно посмотрел на Тихона.

— Куды ж идтить, провалимся. Лед-то еле дышит...

Тихон насмешливо усмехнулся.

— Чтоб земля под тобой провалилась! Как на остров прошел — и обратно дотопаешь. Давай, прямо к машине веди!

Мужичок неожиданно затрясся и, срывая с себя одежонку, пошел грудью на егеря.

— Чего навалился на человека? Без машины я! Дело пришить хошь? Ты мне машину не клей! — Он брызгал слюной, перед лицом Тихона плясали перекошенные в пене губы, бешеные глаза, и егерь брезгливо отстранился.

— Собакой затравить хошь? Где такой закон есть, чтоб человека собакой рвать? Отдай ружье, не тобой куплено!

Мужичок пошарил за голенищами сапог и в руке у него блеснул широкий нож.

— Отдай, говорю, не то убью — с меня, нервного, не спросют...

Тихон сокрушенно покачал головой, мол, сам братец виноват, и ударил мужика в острый, небритый подбородок. Тот всплеснул руками, заголосил и, взбрыкивая ножками, снопом покатился по льду.

— Выбрось нож, не то собаку спущу... Вот так-то лучше, нечего здесь дурочку ломать. А теперь веди к машине!

Выбросив нож, мужичок помотал головой и, придя в себя, опять закатил глаза.

— Без машины я! Ты мне дело не клей!..

Тихон с интересом посмотрел на голосящего «добытчика» и достал из кармана ключ зажигания.

— А это что? Сигаешь, как заяц, вот и порастерял все. Ключ-то не от комода, а?

Он согнал с лица улыбку и, повысив голос, отрубил.

— Хватит ломаться. Топай!

Машина стояла на стыке протоки и реки в плотном тальнике. Тихон сел за руль.

— А ты от греха подальше в кузове прокатишься вместе с собачкой.

Буксуя, разбрызгивая по сторонам грязь, снежное крошево, машина лезла из низины. В свете фар мельтешили снежинки, только сейчас Тихон увидел, что уже ночь, он понемногу успокаивался и почувствовал, как устал от долгого бега, от криков этого мужика и сколько сил понадобилось ему, чтобы с видимым равнодушием глядеть на тусклый нож, в бешеные глаза и решиться ударить, чего Тихону не положено делать ни по служеб-

ной линии, ни по другим соображениям. Словно очнувшись, Тихон первый раз за день вспомнил о Лешке и в нем шевельнулось неясное беспокойство.

Он надеялся, выбравшись из низины, увидеть свет в окнах, но в доме было темно, Тихон нахмурился и прибавил газу. Мужичок катался в кузове и кричал.

— Сцепление порвешь, ох, изверг, машину сгубишь!

Перед Тихоном встала прогалина, мимо которой он бежал за стрелявшим. На холодной и черной земле билась косуля, вокруг — по снегу — перезревшей рябиной рассыпалась смерзшаяся в бусинки кровь. Он успел застать тот миг, в который глаза косули поблекли и перестали отражать деревья, небо. Тихон увидел, как он сам помутнел и исчез в этих глазах. И он с ненавистью пробормотал:

— Глотку тебе порвать не мешает!

В доме было пусто, керосиновая лампа была холодна. «Не зажигал, значит»,— растерянно подумал он и побежал к леснику.

Вернувшись, Тихон опустился на лавку и сжал голову руками. Ему стали безразличны и этот мужичок, жадно припавший к ведру с водой, и косуля, лежащая сейчас на прогалине, и лодки, ожидавшие его сильных и умелых рук. Тихон сидел, глядя в одну точку, и никак не мог понять — что же произошло?

Гость наконец оторвался от ведра и уставился на егеря.

— Ты че это?

Он все ждал, когда егерь заберет у него патронташ, права, снимет номер с машины, начнет кричать, стыдить...

Тихон поднял глаза и будто перед ним был не тот, кто несколько часов назад шел на него с ножом, сказал:

— Сын пропал. Лешка...

Аю лежал на пороге, смотрел на чужого и беззвучно скалился. Он не понимал, почему хозяин позволяет трогать вещи, разговаривать человеку, которому Аю совсем недавно не давал протянуть руку к ружью и который кричал и замахивался ножом на хозяина?

Вдруг он вскочил, напрягся — из ночи летело слабое эхо знакомого голоса! В нем были страх, отчаяние, мольба... Аю беспокойно заскулил — его звали, и он был готов помчаться на зов маленького хозяина, но эхо оборвалось... Аю замер на крыльце. Он смотрел в темноту и ждал, что зов повторится.

Тихон бросился к собаке.

— Что? Что, Аю? Слушай!

И зов повторился, как и в первый раз он прилетел из Мокрой балки. Аю нетерпеливо заскулил, прыгнул в непроглядную темень и пропал.

Тихон бросился вслед за собакой, он не видел Аю, только слышал, как сильные лапы выбивали из земли гулкую дробь.

От одного сознания, что Лешка угодил в болото, Тихону стало не по себе. Он изо всех сил старался поспевать за Аю, но овчарка бежала слишком быстро, и Тихон чувствовал, как ему начинает отказывать сердце, еще немного — он упадет и не поднимется.

И тут за спиной взвыл мотор. «Уйдет ведь, конечно, уйдет. А я даже номер не запомнил»,— равнодушно подумал Тихон и тут же забыл о браконьере.

Он сразу не понял, почему сзади вспыхнули снопы света и кто-то позвал его.

— Эй, давай сюда! Чего ногами бегать

Тихон обернулся, машина стояла на бархане и тряслась, ревела, как разъяренный зверь. Он влез на подножку, и сразу хорошо стали видны стена камышей и бегущий к ней Аю.

Руки мужичка, как клешни, вцепились в баранку, в его глазах опять бесновались шальные огоньки. Машина, визжа и охая, карабкалась с бархана на бархан. Под колесами, как выстрелы, ломались кусты саксаула.

Тихон удивленно посмотрел на мужичка. «Хм, не сбежал, надо же, а я думал...»

— Машину ведь сгубишь, песок здесь...

Мужичок сверкнул глазами и, будто назло Тихону, поддал газу.

— Ладно, чего уж там...

Тихон на руках вынес сына из Мокрой балки и положил его на сиденье. Стянул с Лешки задубевшие сапоги и начал растирать его побелевшие ступни.

— Не больно! Гляди ты, как прихватило! Куда ж тебя занесло, а? Ничего, ототрем... Сюда в доброе-то время — не суйся, а ты в непогодь полез... Ничего-ничего, я сейчас... Как заколет, ты, Лешка, сразу скажи, слышь...

Лешка медленно поднялся, зачем-то потрогал горящую в кабине лампочку. Долго непонимающими глазами смотрел на светившуюся приборную доску, на шофе-

ра, который все косился на его руки и, будто пугаясь их, отодвинулся к самой дверце.

Лешка пришел в себя от тянувшей боли в ногах, попытался встать и только сейчас почувствовал, что руки чем-то заняты. Он разжал пальцы и под ноги посыпались проволочные петли. Лешка хотел рассказать отцу, как он собирал эти петли, как рядом с ним умирал вынутый из такой петли заяц и что на остров пришли кабаны, но не смог. Наклонился, сгорбился, руки шарили по кабине, собирая петли, и заплакал.

Тихон забрал у сына петли и протянул шоферу.

— Твои?

Мужичок долго прикуривал и опять вцепился в баранку.

— Мои... Ладно, поехали акт писать.

Аю лежал в стороне и сгрызал намерзший на лапах лед. У него было скверное настроение. Странные эти люди, еще недавно ему велели броситься на человека, который теперь спокойно сидит среди них, и рядом — маленький хозяин... Все это сплелось в непонятный для Аю клубок, он был недоволен и потому не выражал ни радости к мальчишке, ни злобы к человеку, ставшему для него вечным врагом.

Тихон позвал собаку в кабину, но Аю не мог позволить себе такого скорого примирения. Он сделал вид, что не расслышал, и предпочел вернуться домой в одиночестве.

На исходе третьей ночи Большому Волку удалось зубами выдернуть из бедра картечину. Когда отошла черная и густая кровь, он принялся зализывать рану и скоро почувствовал облегчение.

Большой Волк лежал среди барханов рядом с обломком скалы, невесть откуда взявшимся в этих песках. Ночь была безлунна и холодна. Большой Волк долго принюхивался, ловил каждый запах, принесенный ветром, но воздух был чист — далеко вокруг не было ничего живого. Только картечина пахла его кровью, огнем и порохом. Он беззвучно оскалился и ударил лапой свинцовый шарик. Картечина откатилась в сторону и провалилась в снег.

Тогда он встал, оставил на обломке скалы свою метку и крадучись пошел на север. Непреодолимая сила тянула его туда, где три дня назад Большой Волк поте-

рял свою подругу и откуда он принес в бедре кусочек свинца.

Туда вели его следы — размашистые, глубокие. Они пахли потом, который бывает только во время погони или бегства, между отпечатками лап лежали бусинки его крови, и Большой Волк все ниже прижимался к земле, и шерсть на его спине перекатывалась и вставала дыбом.

Наконец он уловил слабый запах подруги, и Большой Волк напрягся, вытянул морду над землей и, позабыв про свою боль, побежал навстречу этому запаху. Большой Волк торопился — кончалась ночь и он спешил отыскать свою Волчицу и увести ее подальше от того страшного места, где человек разлучил их. Он мог бы позвать ее, но инстинкт подсказывал Большому Волку, что он не должен подавать голоса, и он стремительно стлался по барханам навстречу Волчице.

Ветер вдруг стих, и Большой Волк потерял зовущий запах. Он остановился, ноздри его широко раздувались и искали потерянную цель. Большой Волк обежал круг, но в воздухе не было ничего, кроме запаха снега, песка и саксаула. Откуда-то справа пахло добычей — там шли косули. Он понял, что их не много и они проделали неблизкий путь. Но сейчас Большого Волка не интересовала охота — он искал Волчицу.

С севера опять потянул легкий ветер, и Большой Волк поймал исчезнувший запах. Он устремился навстречу ему и сейчас же остановился как вкопанный и застыл. Запах насторожил его, удерживал на месте, что-то в нем пугало Большого Волка, заставляло его пятиться. Появился страх, и Большого Волка потянуло назад, к обломку скалы, он завертелся на месте и стремление к Волчице уже не могло взять верх над родившимся страхом.

Прошло много времени, пока Большой Волк пересилил этот страх — он не хотел оставаться один, без подруги, с которой встречался уже четвертую весну. Большой Волк огромными прыжками покрыл опасное расстояние и вдруг заскулил, прижался к земле и затих. В запахе Волчицы была Смерть!

Большой Волк захрипел и в ужасе бросился в ночь. Он мчался долго, пока рана на бедре не разошлась и по ноге не побежала горячая струйка. Большой Волк затравлено остановился, его острая грудь еле сдерживала метавшееся сердце, в горле застрял жалкий визг ужаса

и страха. Он печально опустил голову и так стоял, пока сердце не успокоилось и он перестал его слышать. Первый раз Большой Волк был побежден и унижен, у него отобрали его Волчицу и лишили ее жизни. И Большой Волк ничем не смог ей помочь.

Пески просветлели, ночь держалась только в низинках между барханами.

Над ним пронеслась стая птиц, Большой Волк слышал свист их крыльев, и зрачки его уменьшились и сузились, потому что пришел день.

Жизнь продолжалась, его слух улавливал все больше звуков, чутье говорило о том, что косули продолжают свой путь в сторону реки. Они были очень далеки от Большого Волка, но чутье не обманывало его.

И он ощутил голод. После всего пережитого за последние дни и ночи голод был особенно силен и он заставлял Большого Волка действовать. У него были силы начать охоту немедленно, но Большой Волк залег в саксаульнике, положил морду на лапы и закрыл глаза. Казалось, он спит глубоким сном, но уши и ноздри Большого Волка были, как всегда, чутки — они слушали пески, и под его кожей вздрагивали и перекатывались твердые и сильные мышцы.

А когда пришла четвертая ночь его одиночества, Большой Волк поднялся на бархан и завыл. В этом вое были хриплые нотки, что говорило о печали, отчаянии, этот вой говорил о том, что Большой Волк ранен. Но в его кличе была и сила, приглашение на охоту.

Большой Волк не надеялся на встречу с сородичами, вряд ли было кому услышать своего собрата. Их осталось совсем немного, и дети Большого Волка, а за четыре весны их было пятнадцать, выросли, ушли и пропали бесследно. Но Большой Волк готовился к охоте и он не мог не бросить в ночь этого зовущего клича.

На этот раз пески не промолчали — ответный вой был выше, чище и неуверенней. Большой Волк понял, что ему ответил молодой собрат, и он бросил еще один — короткий, ободряющий, но властный призыв, и скоро услышал, как под лапами пришельца заскрипел снег.

Большой Волк увидел его широкие лапы, густую серебристую шерсть, крепкую лобастую голову — пришелец был силен, но ни одним движением он не демонстрировал своей силы, он будто понимал состояние Большого Волка и щадил его печаль. С левой стороны через затылок к носу пришельца тянулся рубец, уже закры-

тый шерстью, ухо с этой стороны было порвано. Где-то в песках молодому волку пришлось постоять за себя, и, видно, ему выпала нелегкая схватка.

Одноухий, поджавшись, остановился поодаль, потом лег на соседнем бархане, всем своим видом выражая уважение и покорность Большому Волку.

И Большой Волк затрепетал и неожиданно растроганно потянулся в сторону Одноухого — он легко укусил его за загривок, что означало высшую симпатию и расположение. Большой Волк встретил своего сына! В Одноухом текла его кровь и кровь Волчицы!

А Одноухий понял, что Большого Волка постигло несчастье, он поднял морду к черному звездному небу и завыл по подруге старшего собрата, не подозревая, что она была его матерью.

В Большом Волке все смешалось — печаль, ожидание охоты, встреча с Одноухим. И он не мог промолчать. Одноухий сразу замолк и только изредка позволял себе подвывать, не нарушая горестной песни своего вожака. Он только не понимал, почему Большой Волк так тепло сообщает Волчице о том, что он встретил его, Одноухого.

Потом Большой Волк, как это было давно, когда он учил сына охотиться, тронул носом Одноухого. Тот беспрекословно подчинился и с готовностью пошел за Большим Волком.

Они двинулись в сторону реки, Одноухий тоже почуял их добычу. А вожак все убыстрял бег, несколько раз они пересекали следы косуль, но Большой Волк бежал к реке напрямик, и к рассвету впереди запахло водой.

Память подсказала Большому Волку, что он повторил путь, пройденный им когда-то, и тогда охота была удачной. Но он вспомнил, что при переходе нужно остерегаться запаха железа. И если быть неосторожным, оно прочно и больно схватит ногу и потом придут собаки и человек.

Затаившись, они пролежали в тальнике до вечера. Днем до их слуха докатился слабый отзвук одного выстрела, но и Большой Волк, и Одноухий привыкли к этим звукам, и потому настороженность их скоро спала. Правда, инстинкт подсказал вожаку, что этим выстрелом был кто-то убит, он умел различать — нашел заряд свою цель или нет.

Началась ночь, и Большой Волк вывел Одноухого на протоку. Держась в стороне от еще светлого льда и полыней, они пошли вверх по течению — туда, где протока была узка и лед еще не тронулся.

Не обнаружив ничего подозрительного и опасного для себя, они перешли протоку и затрусили в глубину острова — здесь еще никто не подозревал о приближении Большого Волка и Одноухого. По запахам вожак определил, что одна косуля из тех, что двигались к реке, исчезла, но это обстоятельство его не смущало, вокруг было много дичи, и быстро разобравшись, где пасется еще один табунок, он пробежал до заросшей балки, показывая Одноухому — куда нужно будет выгнать добычу.

Одноухий дождался, пока Большой Волк заляжет и, огибая круг, понесся к табунку. Охота началась.

С подветренной стороны Одноухий пробрался к добыче, их разделяла только полоса редкого камыша. Он слышал, как дышат косули, как похрустывает под их копытцами снег. Одноухий на одно мгновение обнажил клыки — они осветились лунным светом — и выметнулся из засады.

Заходя то справа, то слева, он молча гнал табунок на вожака. Только однажды Одноухому выпало охотиться стаей, но он помнил, как нужно вести себя и что делать, и Одноухий понимал, он не имеет права просчитаться, иначе Большой Волк не простит ему неудачной охоты. Одноухий не уступил бы ему победу, но инстинктивно он чувствовал — что-то связывает его с вожаком, нечто большее, чем эта охота, и в этой связи первенство он отдавал Большому Волку.

Разметая на пути снег, землю, кусты, косули с храпом летели по острову, из-под ног поднимались потревоженные фазаны, спросонья они бились в стволы деревьев, заросли, и этот шум валом накатывался на Большого Волка.

Перед балкой Одноухий остановился — он сделал свое дело. Увидев это, косули бросились в балку, скрылись в ней, и тут же Одноухий услышал хруст и предсмертный храп — они хорошо поняли друг друга, и Большой Волк не промахнулся.

Легкой рысцой они проводили поредевший табунок до конца балки, послушали, как стихает шум и верну-

лись к добыче. Большой Волк стал над задранным рогачом, и в его горле заклекотал победный клич, клич удачи, готовый вот-вот вырваться наружу. Так всегда венчали хорошую охоту его предки. Было время, когда и Большой Волк, повергнув жертву, оглашал ночь таким кличем. Но сейчас он жил среди людей, враги были день и ночь рядом, и Большой Волк научился сдерживать свои порывы.

Вожак только тихо проскулил, приглашая Одноухого разделить добычу.

Сквозь сон Лешка с облегчением почувствовал, что боль, усталость бесследно пропали. Только страшно хотелось пить. Но непременно свежей, колкой воды — из протоки. Он легко соскочил на пол, оделся, прихватил в сенях кружку.

Протока была чиста! Тогда Лешка сунул кружку в карман, лег на живот и опустил лицо в воду. Он пил маленькими глотками, и вода катилась по горлу кусочками льда.

Светало быстро. Противоположный берег стремительно выдвигался из утренней сини. Вчерашний снег за сырую ночь растаял, и берег был такой оголенной чистоты, что Лешка невольно поискал глазами клочок первой земли — и увидел их!

Большой Волк и Одноухий вышли из тальника и застыли на яру. Лешка попятился, вскочил и бросился в дом.

— Пап, проснись! Да проснись же! Волки! Волки на острове!

Тихона выкинуло с кровати. Он сорвал со стены двухстволку, выдернул из патронташа два патрона с картечью и пригибаясь побежал к лодкам.

Руки привычно сжали оружие. На бегу переломил стволы, они клацнули, проглотывая патроны.

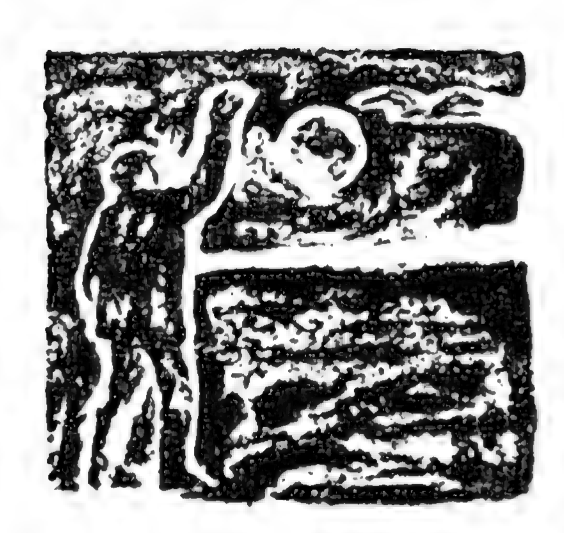
Столкнул лодку на воду и лег на дно. Тихон слышал только свое сердце, да рядом с лицом — за тонкими бортами — плескалась вода.

Расстояние медленно сокращалось. Чуть приподняв голову, он краем глаза следил за волками. Они не сменили положения и по-прежнему были спокойны.

«Пора!» — Тихон встал во весь рост, лодка качнулась от выстрела и Большой Волк, отброшенный свинцом, покатился по земле. В замешательстве Одноухий отскочил в сторону, остановился лишь на секунду и успел почувствовать, как что-то горячее пробило грудь...

Тихон стоял, опустив тулку, руки все еще крепко сжимали ее, а вода медленно сносила лодку и редкие льдины мимо Большого Волка и Одноухого, мимо острова.

Год журавлей



На днях я встретил Веньку. Первое, что промелькнуло на его лице, было смущение. Видимо, Венька до сих пор не мог простить себе того, что тогда, четыре года назад, он дал мне почитать свои стихи. Стихи были плохие, и сейчас Венька понимал это особенно ясно.

Яростные веснушки, покрывавшие его лицо, шею, руки, исчезли. Венька вытянулся, немного ссутулился. Кроме обычных вопросов о здравии и делах ему нечего было спрашивать у меня, он стоял передо мной со своей обычной для него приветливой готовностью тотчас сделать все, о чем его попросят, и в толпе светилась, как пук прошлогоднего сена, его копна волос, кажется, навсегда обесцвеченная жгучим прибалхашским солнцем.

Правда, он вполне мог бы спросить — почему я до сих пор не написал о том, ради чего четыре года назад прилетал в Сарысу, но Венька промолчал, и я был благодарен ему за это, потому что у меня не было, да и не могло быть, того, всегда выручающего оправдания об отсутствии времени, настроения и всего, что обычно говорят в таких случаях. Все обстояло гораздо сложнее, и это трудно было объяснить в короткой уличной встрече.

Венька дал мне почитать письмо от его отца.

Я вспомнил, четыре года назад отец волновался за институтские дела старшей дочери, теперь он также дотошно, с деревенской обстоятельностью пекся о делах Веньки.

— Так я пойду, мне пора,— сказал Венька и заторопился вверх по улице, к институту. Он шел переваливаясь с ноги на ногу, так ходят моряки, только ступившие на сушу после долгого плавания. Венькина походка на-

помнила мне шаг его отца — крепкого, добродушного увальня. Я с радостью заметил, что для постороннего глаза Венькина походка ничего не говорит — просто увалень, не выдает его врожденного недуга — косолапия, который теперь вроде отступил.

Отец Веньки сутки шел на моторной лодке вверх по течению реки, чтобы добраться до райцентра и найти сыну специальную обувь, которая медленно, но все же исправляет этот природный недостаток. Так продолжалось пятнадцть лет, и каждый раз, когда отец собирался в неблизкую дорогу, Венька заправлял мотор, сталкивал лодку на воду и не уходя с берега, ждал отца с новой парой специальных «лечебных» ботинок.

Я смотрел ему вслед и опять увидел Ефимыча, реку, придавленную зноем, высокий шпиль обелиска, стоящего на перекрестье всех ветров, два письма, одно — чистое, обстоятельное, второе — спешное, и страшное... Получены они были в разное время и от разных людей. Опять я попытался представить Стрепетова. Этого человека я никогда не видел и часто ловил себя на том, что для меня Стрепетов и Ефимыч сливаются в одно целое и я не могу думать о каждом из них отдельно. Но каждый раз между этими людьми вставал обелиск.

Венька вышел на площадь перед институтом и пропал в толчее студентов. В той истории Венька сыграл самую маленькую роль и не будь тех злосчастных стихов про соседскую девчонку Ольку, возможно, мы не обмолвились бы с ним ни одним словом.

— Стрепетов всегда с нами возился. Я его не боялся — у меня отец такой же, а вот Олька боялась. Он как напучит глаза, как закричит по-совинному и на карачках на нее ползет. А она в крик —и домой. А потом обязательно придет — знает, он ей всегда конфеты носил...

Но Венька сейчас был для меня весь Сарысу, стоящий далеко от больших городов и шумных дорог. Единственное, что связывало поселок с ними — самолет, два часа лета через пески, бесконечные россыпи озер и опять пески...

Несколько раз я откладывал поездку в Сарысу, к Стрепетову. Я полагал, что в любое время ничто не помешает нашей встрече, вряд ли что-то может произойти в спокойном, неторопливом мире, в котором жил Стрепетов. Но я просчитался. И когда лететь было вроде не к кому, я заторопился.

Передо мной стоял Сарысу, который начался для меня еще до посадки самолета, когда на крутом вираже перед заходом на посадочную полосу в иллюминатор глянул речной берег, на котором доживали свой век два старых баркаса, рассохшиеся, почти затянутые песком...

Ефимыч, босой, в закатанных по колено парусиновых штанах и в застиранной, бесцветной майке, провел меня через поселок, через взлетное поле аэродрома, на котором всегда паслись то чья-нибудь блудная корова, то ишак, сбежавший от окрестного чабана, то пара худых, облезлых коз. Как только самолет начинал заходить на посадку, в радиорубке раздавалась ругань пилотов: «Уберите эту скотину! Вам здесь не кошара, а гэвеэф!» На такой случай у кассирши в углу комнатки стоял хлесткий таловый прут, она хватала его и проворно бежала к предмету ярой ненависти летчиков.

Смахивая с лица липкую паутину, мошкару, мы пробрались через тальниковую рощу и вышли к реке. Над водой, скрипящей от каждого движения пристанью, над влажными песчаными мелями молча и стремительно носились чайки. В крутых берегах тесно гнездились ласточки. Река сонно катилась по широкому обмытому руслу, медленно и гордо плыли по ней выкорчеванные кем-то пни, сломленные ветрами и старостью деревья, изогнутые и глянцевитые, как змеи, ветви. Ефимыч бросил в лодку мешок, собранный для дороги и нескольких дней жизни в безлюдье, отомкнул ржавый замок и полез в мотор, задрав тощий зад к солнцу.

Мотор этот был ветхий и слабенький. Раз в неделю старик снимал его с лодки и тащил на свой огород. Там Ефимыч подсоединял к нему пожарные шланги, и мотор становился помпой. Вместе с речной водой на картофельные грядки засасывало мелкую рыбешку, и после полива по огороду лазали и дрались за добычу кошки.

Ефимыч был охотником-промысловиком в местном промхозе. В дельте реки, проходящей через сотни озер и проток, ловил он ондатру, солонгоя — зверька, шкурка которого по ценности приравнивается к меху колонка. С этим хищником у каждого промысловика были свои счеты: солонгой нещадно бил ондатру, диких уток, их беспомощные выводки. И совсем редко в капканы Ефимыча попадала нутрия.

Промысел шел всего два-три месяца, с октября и до морозных снегов. Остальное время охотники смолили лодки, байдарки, возились с капканами, пропадали на рыбалке, бездельничали и без особой охоты нанимались на подсобные работы. И Ефимыч решил было подрядиться на сенокос, его уже внесли в список, но с моим приездом старик заполучил причину отказаться от скучной для него работы.

Ряд лодок тянулся вверх от пристани до крутой излучины. Все лодки походили одна на другую, и только одна из них была слишком нова и без мотора. Заякорили ее прочно, будто навсегда, и так же тщательно притопили, чтобы не рассыхались борта. Ефимыч сказал:

— Это его лодка, Стрепетова. Мотор-то люди купили, а лодку кто ж возьмет? Кому охота после того случая на ней ходить? Это такое дело, сам понимаешь... А так, кто проконопатит, кто подсмолит, вот она и стоит как положено, на своем месте.

На корме верещит мотор, пенистое русло плывет навстречу, берега впереди разворачиваются, разбегаются далеко по сторонам. Перед глазами в такт мотору дрожит коричневое морщинистое лицо Ефимыча. С далекой косы с пронзительными криками снялись чайки, старик вздохнул и покосился на меня:

— Слышь, ты про реку Рио-Негро ничего не слыхал?

Я с удивлением посмотрел на Ефимыча. Он завозился на узкой скамейке и всплеснул руками.

— Ну, Рио-Негро, река такая в Аргентине текет. Там родина всех нутрий, их дом. А чудная, должно, река, драки в ней всегда идут... В Аргентине жарко, душно, одно слово — малярийные места! А она там живет и плодится. И дерется, как чумная! Ты знаешь, как они дерутся? — Ефимыч привстал и бросил руль.— Это ж самый драчливый зверь в мире, я тебе точно говорю! — Ефимыч убеждал меня так, будто сам он только что прибыл из Аргентины, с берегов Рио-Негро, где наблюдал страшные бои нутрий.— Они если сойдутся — все! До смерти грызутся и без устали. Если все нормально, она пугливая, а ежели драка — хоть подходи и за хвосты растаскивай! Как сойдутся, сразу норовят в морду друг другу вцепиться, это чтобы зубы повыломать, а потом уж самая драка начинается! — Старик долгим взглядом обвел реку и, придя в себя, смутился.— Не знаешь, выходит, про реку Рио-Негро? Я тоже мало знаю, чудная,

должно, река... И как это она с Аргентины к нам в Сарысу добралась? Хотя у нас тоже вон как жарко, пекет! — заключил Ефимыч и опять шумно вздохнул.

Вода тонко звенела в натянутых течением капроновых шнурах. На противоположном берегу за стеной камыша монотонно цокал фазан. На реке урчали воронки, они вдруг со свистом втягивали воздух и тут же выбрасывали на поверхность ил и крупный донный песок. Под берегами била хвостами сильная рыба.

Я лежал на спине и до боли в глазах смотрел в белесое дрожащее небо, в нем недвижимо повис коршун, но крылья его нервно трепетали, готовые в любую секунду бросить птицу вниз — на жертву. Почему я ничего не знаю про эту аргентинскую реку Рио-Негро? Я даже пожалел, что никогда, наверное, не увижу смертельных боев нутрий, вырывающих друг у друга клыки, зубы...

Один из закидов дрогнул и с неожиданной силой, как плеть, резанул воздух, воду!.. Для меня мгновенно исчезли Рио-Негро, оскалившиеся нутрии... Ефимыч обеими руками ухватил звеневшую капроновую нить, сом подался легко, только у берега он выпрыгнул из воды и забился от боли и страха, но старик уже подтянул его к мелководью и выволок на берег.

У ног лежало упругое, блестящее полено, с черным верхом и желтыми разводами по бокам. Усы сома беспомощно шарили по песку, оставляя на нем затейливый рисунок. Я помог Ефимычу протянуть стальную проволоку через жабры сома, концы ее мы привязали к лодке и спустили рыбу в воду. Руки мои пахли глубинным илом и рыбой. Первый азарт прошел, я долго смывал с ладоней рыбью слизь, кровь из пораненных жабер и терпеливо ждал, когда Ефимыч решит, что можно ехать. Неподалеку отсюда лежал промысловый участок Курли. Надо только спуститься немного по реке и не прозевать протоку. А по ней до Курли —рукой подать.

В узкой протоке было тесно даже одной лодке. Часто приходилось прижиматься ко дну — сверху давил ходивший ходуном потолок из метелок, острых листьев, сухостоя, намертво сплетенного ветром. Сразу за лодкой смыкалась зеленая стена, и над водой стлался синий дымок тарахтевшего мотора.

Раньше этот участок, как и все остальные, числился

под номером. Промысел номер семь. Но перешел он к Стрепетову, и после него остались Курли.

Как-то Стрепетов застал на седьмом промысле журавлей. Они бродили по мелкой воде и кормились, только один лежал на боку и бессильно распускал крылья. Увидев человека, журавль начал биться и кричать, стая неохотно легла на крыло, она кружилась над головой Стрепетова, над бившимся о землю товарищем и протяжно трубила:

— Кур-ли! Кур-ли!

Птица попала в оставленный кем-то с зимы капкан. Стрепетов высвободил журавля и, бросив все дела, погнал лодку обратно в Сарысу.

Журавлей здесь никогда не видели, и вокруг фельдшерского пункта собралась толпа. Фельдшер вычистил рану на ноге птицы, осторожно вывел журавля на проселок и подтолкнул. Приседая на пораненную ногу, он разбежался, взлетел и над крышами Сарысу потянул прямо к седьмому участку, к своей стае. Стрепетов расцвел как мальчишка, и, толкая локтями стоящих рядом с ним, закричал:

— Гляди, гляди! На Курли пошел, к своим!

Так участок номер семь стал Курли. Про этот промысел ходили невероятные слухи и, наслышавшись их, можно было подумать, что зверя там —невпроворот, что он специально бежит с других участков, чтобы залезть в капканы Стрепетова.

А после Стрепетова на Курли был определен другой охотник — не пустовать же такому промыслу! Но за весь сезон он не добыл и двух сотен шкурок, против трехчетырех тысяч стрепетовских. О Курлях пошла дурная слава, тем более, что с приходом нового человека журавли здесь больше не появлялись.

Мы пробрались по давно нехоженой тропе и вышли к подножию высокого желтого бархана. Внизу по самые окна увязла в песке покосившаяся избушка. А на золотой верхушке песчанного холма стоял высокий шпиль. Ефимыч снял свою кепчонку, и мы полезли наверх.

Памятник поседел, покрылся пылью и чуть осел на одну сторону. Ефимыч смахнул рукавом песок с надписи, и солнце вспыхнуло на латунных буквах. «Нашему Тимофею Андриановичу Стрепетову от родных, близких и друзей-охотников. А также ото всех промысловиков края».

— Ну вот, смотри,— буркнул Ефимыч и отвел глаза.— Смотри. М-да...— Старик опустился на колени и принялся разгребать руками песок, наступавший на памятник.

Я мельком посмотрел на памятник — только прочитал надпись. Я смотрел на зеленое море камышей, по которому с тихим шелестом перекатывался теплый ветер, на одиноких селезней, тянувших далеко по горизонту. Я смотрел на стрепетовские Курли, на озерко, где держались журавли, пока здесь жил этот человек, на ветхую от недосмотра избенку, почти занесенную песком, и не хотел оборачиваться к шпилю. Ветер бился в гулкое листовое железо, и от памятника вдаль убегал унылый стон.

Спустившись к лодке, я слышал, как Ефимыч кряхтел, что-то бормотал. Когда мы выбрались из протоки, он окликнул меня:

— Слышь, я в этом сезоне на Курли пойду. Сторожку вот подлатаю и пойду.

Мотор вдруг заглох, я оглянулся — Ефимыч стоял в полный рост и махал рукой.

— Журавли! Смотри, над Курли летят!

По горизонту мимо промысла летел ломкий клин больших птиц. Это были лебеди.

— Да, лебеди, не журавли,— тихо согласился старик и завел мотор.— Не разглядел я...

К ночи полнеба затянуло. Далеко в песках свистел ветер, а на берегу было тихо и душно. Через последнюю полоску заката проносились запоздавшие утки, чайки. Ефимыч проворно растянул марлевую палатку, мы перекусили и полезли под полог. Снаружи тонко зудели комары. В чистой половине неба через марлю неясно просвечивали звезды, падающие метеориты. Их время еще не пришло, глубокой осенью, в холодные ночи, они почти непрестанно будут чертить небосвод. Загадывать на падающие звезды здесь было некому, они бесполезно пролетали огромные расстояния, и редкие из них достигали земли и врезались в белый, теплый песок.

— Не клюет, а? М-да... Мы этот памятник из города Балхаша на катере привезли, потом по реке сюда подняли, лодками. А здесь — то на себе, то волоком... Поставили! Считай, без малого шестьсот верст доставляли...

На одной половине неба вздрагивали чистые звезды, на другой — бесновалась гроза. В набухших тучах вспы-

хивали изломанные молнии, следом накатывался гром, и опять в песках свистел ветер. Это был сухой дождь, другого дождя здесь не бывает. Часами рокочут громы, светят молнии, а на земле — ни капли. Дождь высыхает высоко над песками в раскаленном воздухе.

Опасаясь сжечь марлевую палатку, Ефимыч прятал папиросу в ладонях, пепел стряхивал в кепку.

— Я до того, как в охотники пришел, капкана в руках не держал. В другие времена меня бы и близко к промыслу не пустили, а тогда с людьми совсем худо было, вот и взяли. М-да... Я с людьми сошелся, наслушался советов — и айда промышлять. Сутками из байдарки не вылазил, а зверя нет и нет. Другие уже по разу шкурки сдали, продуктов, водки прикупили, а я приемный пункт все стороной обхожу. Срам один!

Ефимыч лежал ко мне спиной, и, когда старик глубоко затягивался, из темноты выступала нечесаная копна пепельных волос и худое острое плечо.

— Ночью слышу, моторка ко мне идет, Стрепетов, значит, пожаловал. Поковырялся он в моей добыче, собрал мои шмотки, капканы и понес в свою лодку... Увез он меня к себе на участок, вместе ловили, капканы рядом ставили. А ночами я, как вор, в свою сторожку добычу отвозил — молодой был, себя любил, не дай бог увидит кто! Обдеру за ночь, растяну на сушку, а с первым светом обратно к Стрепетову.

С берега донесся плеск и свист капроновой нити, Ефимыч неожиданно проворно выскочил из палатки и, долговязый, в длинных трусах, побежал к снасти. Шнур звенел, как тетива, несколько раз рыба уходила в глубину, и тогда Ефимыч быстро стравливал выбранную снасть. Наконец на песке заколотился крутолобый сазан, даже в безлунье светились его оранжевые плавники и золотое, в мелкой твердой чешуе брюхо. Толстыми губами сазан хватал воздух, затихал и с новой силой начинал биться на берегу. А Ефимыч суетился вокруг него, как человек, которого первый раз в жизни посетила большая удача.

Мы еще долго слонялись по берегу, ежились, отмахивались от докучливого комарья. Я с трепетом ловил каждое подрагивание снасти и проклинал себя за то, что не успел быстрее Ефимыча подскочить к счастливому закиду.

В ночи зашлась криком выпь.

— У-ух, сволочь! — не то с восторгом, не то со стра-

хом сказал Ефимыч.— Кровь леденеет, как она стонет!— Он махнул на снасти рукой, и мы полезли в палатку.

— Ты наше письмо получал? Вот-вот, я тоже под ним подписывался, мы в нем только самую суть сообщили, все так было. Слушай.

Он меня и Федора к себе пригласил, ну мы и пришли. Глядим, вроде не то... Дверь у избенки открыта, в окошке темно. Я тогда еще сказал Федору: «Вишь, спит уже. Раньше надо было бы». А за пазухой у меня поллитровка была, отогрелась уже. Я ему кричу: «Андрианыч, вставай, водка согрелась...» А в сторожке никого нет. И в печи — холодно. По стенам шкурки, двухстволка, мешок с продуктами висят... Мы еще покричали, потом в камышах треск пошел и прямо на нас. И дышит как-то затравленно. Я никогда не боялся, а тут кабан раненный в голову пришел, я — в сторожку, схватил ружье андриановское...

...Прижавшись спинами к рубленой стене сторожки, они ждали зверя. В протоке плескалась тяжелая вода, шелестел по камышам снег. Из темноты выбежал кудлатый кобель и повалился на крыльцо. Морда его была в крови, шёрсть свалялась в сосульки. Ефимыч опустился перед собакой на колени, вытер ей кровь, оглядел всю и не нашел ни одной царапины.

— Это чужая кровь. Индус, пошли!

Собака потрусила в сторону от Курли, прямо к реке. Они поднялись на высокий бархан, и в ночи прогремело два выстрела. Эхо, ломаясь и множась, укатилось в степь, а они, застыв от напряжения, ловили каждый шорох...

Камыши молчали. В протоке скрежетали куски льда, гонимые течением к реке. Индус, вытянув по ветру морду, вертелся и нетерпеливо скулил. Они еще долго пробирались через буреломы, под ногами чавкала незамерзающая топь. Впереди полз измученный Индус.

Наконец сквозь тростник заблестела под луной река. Ефимыч сел в снег, вылил из сапог жидкую грязь и вдруг прямо перед собой увидел кинжал с разноцветной наборной ручкой и следы Индуса. Он осторожно поднял этот знакомый ему нож и, не глядя на Федора, резко встал.

— Кажется, нехорошее случилось, Федя... Андрианыч, кажется, это... Ну чего стал? Пошли! — Старик побежал за собакой, тянувшей их вниз, к запорошенной

снегом мели. В ее конце они увидели неподвижное черное пятно, Индус с визгом кинулся прямо к нему, Федор вскинул свою тулку.

— Ефимыч, секач!

Старик шагнул к Федору и с маху ударил по стволам.

— Опусти ружье, дурак!

На мели лежал Андрианыч. От него к воде тянулся широкий, не припорошенный снегом след, он уходил в в реку, и по ней к другому берегу змеилась полоса черной, еще не схваченной новым ледком воды.

Даже осенью, когда озера и протоки на промыслах мелели, Сухая протока была полна. И Стрепетов, конечно, знал это. Провалившись на ней под лед, он понял, что на протоке ему не выбраться — сбросил фуфайку, валенки, связку капканов и, зажав в руке кинжал, начал пробиваться к реке. Но берег оказался высоким и обледенелым, тогда Стрепетов грудью, кинжалом, головой стал обламывать лед и поплыл на противоположную сторону, вот к этой мели. Ровно четыреста метров: Ефимыч сказал, что они меряли это страшное расстояние.

— Слышь, вот так было... Потом я Федьку в поселок отправил за следователем. Нам говорили, если чего случится — без следователя нельзя. Федька на второй день один пришел. Следователь сказал — чего уж там, везите в поселок. Ясное дело!

Сухой дождь кончился, гроза прошла, так и не уронив на барханы ни одной капли. Восток уже тлел розовым светом, и звезды потускнели. Поднимется солнце и будет парить, жечь, как после настоящей ночной грозы.

Когда это началось? В детстве по ночам ко мне часто приходил один и тот же прекрасный и диковинный сон, от которого я просыпался в новой для меня радостной тревоге и никак не мог вспомнить — что мне снится? Так и не вспомнив, я твердо уверился в том, что в жизни у меня не было ничего подобного — это слишком прекрасно, как бывает только в детских снах. Теперь я не могу отделаться от мысли, что мне снился Сарысу, его синие озера, золотые камыши и красные, отражающие солнце тальники.

Гораздо позже я понял, тот далекий детский сон — редкая удача, увидеть его дано не каждому, потому что

для многих людей Сарысу — не больше чем богом забытая земля. Поселок потерялся в необъятной дельте реки между тех синих озер, золотых камышей и солнечных тальников.

Наверное, не случайно именно сюда меня завела охотничья страсть, из Сарысу уходила промысловая бригада, я торопился прилететь и не успел — стоял конец октября, уже в полную силу хлестали прибалхашские ветры, и самолетам здесь делать было нечего. Кое-как добравшись, я остановился у Агеевны, жены Стрепетова. Она кляла свой ревматизм, кормила меня дичиной, как заправский охотник прицениналась к моему «зауэру» и все причитала, что я не поспел к отходу бригады.

Два дня Имантай-ага водил меня по ближним камышевым лабиринтам. Он служил сторожем в продмаге, и днем у него было время на это. И здесь мы нашли хорошие места — были густые перелеты, чистые зори и жаренная на костровом жару дичь. Но все равно в глубине души я жалел — промысел есть промысел и потом я не встретился с людьми, к которым так трудно добирался.

Уже из города я написал Стрепетову письмо и попросил его рассказать о себе. Дожидаясь ответа, я мучился — мне казалось, что я послал бесцеремонный вопросник. Но Стрепетов ответил быстро и обстоятельно.

«Уважаемый товарищ корреспондент!

Получил я ваше письмо и вот делаю попытку ответить, насколько я смогу, так как с образованием у меня дела обстоят не ахти как. В жизни своей мне не довелось перешагнуть порог школы и вообще хоть какого-нибудь учебного учреждения.

Жизнь моя сложилась вполне нормально. После демобилизации из рядов Красной Армии, я сразу же поступил в ондатровый промхоз, вначале заведующим производственно-промысловым участком, потом несколько лет работал охотоведом Каракульского отделения, директором зверофермы на Ушжарме, а в 1959 г. перешел в штатные охотники.

Далее пишу, что вырастил два сына, которые тоже по вьюности работали в ГОХе, а потом позаканчивали институты. Один заочно прошел биохимический факультет, а второй после охотничества овладел горняцким делом, и теперь он в Коунраде на руднике. Оба они женатые, с чего имею троих внуков. Но все они проживают в

городе Балхаше, так что с нами никого нет и мы со старухой живем только вдвоем.

Воевать мне пришлось много. Еще с озера Хасан начал непосредственное участие в этом деле старшиной артиллерийской батареи, а в апреле 1943 г. прибыл на Белорусский фронт в должности начальника продовольственного снабжения артполка и прошел до побережья Балтийского моря. В 1945 г. снова вернулся на Дальний Восток и участвовал в разгроме японцев и прочих самураев. После этого я со своей бригадой перешел в Корею, где и закончил боевые действия. Награжден я орденом Красной Звезды и многими медалями.

А промыслом пушных зверей я занимаюсь с самых вьюношеских лет. Еще в 1929 г. я уже самостоятельно охотился на Крайнем Севере. После был перерыв в охоте 14 лет. Это служба в армии. Когда жил на Севере, то ловил разных зверей. Белку, куницу, соболя, росомаху, лису, горностая. И даже неоднократно участвовал, когда мы с братом и нашими мужиками убивали медведей и особенно зимой шатунов. Еще я ловил выдру и в общем переловил много разных зверей. А после демобилизации остался в Казахстане.

Здесь, конечно, зверей ограниченно, а в нынешних моих местах и вовсе главным образом ондатра. Когда на нее сезон, то я ловлю ее, солонгоя и, бывает, что нутрию. В промхозе работаю 19 лет, за этот период выловил пошти 40—45 тысяч штук ондатры, и за достигнутые успехи меня три раза брали в участники поездок на московскую ВДНХ. Награжден двумя значками Отличник охотничьего промысла СССР, и присвоено мне звание ударника коммунистического труда.

За период моей работы в промхозе научил промыслу много товарищей. В данное время у меня ученика нет, так как молодежь в охотники не идет, в основном едет в город учиться. Так что учить мне некого.

Вот и все, что я мог вам сообщить, только прошу извинить меня за мою писанину, вначале я сказал про мою образованность. А второе, попрошу вас писать только правдиво, лишнего мне ничего не надо. Иначе получится плохо, ведь читать будут знакомые со мной люди.

С приветом Стрепетов».

Я вовсе не собирался писать о Стрепетове, и то ли он сам подсказал мне последней строчкой письма, то ли потому, что он так истолковал мою просьбу и выхода у

меня не оставалось — я вдруг написал об Андрианыче очерк.

Прошло полгода. В один из сырых мартовских дней я получил второе письмо с обратным адресом «Сарысу. Отделение Государственного охотничьего хозяйства».

«Извещаем вам, что несколько дней назад, при исполнении служебного долга трагически погиб Тимофей Андрианович Стрепетов. Приезжали его сыновья, в столе Стрепетова нашли ваш адрес и сказали, что вам надо написать, вы дадите в газету заметку про смерть нашего охотника.

После проверки капканов на своем участке, это на Курли, он пошел разведать другие места и на Сухой протоке провалился под лед. Мы все еще боялись ходить через лед, а он над нами посмеивался и ходил.

Потом он выбрался на реку, долго с ней боролся, все-таки вылез, но умер. Фельдшер сказал, что причиной смерти стало общее обледенение, мы ведь его хватились только через день.

Просим вас дать заметку об Андрианыче, он был хорошим охотником, душевным человеком, и мы всегда выбирали его председателем местного комитета».

Под письмом стояло двадцать подписей, я еще раз перечитал его и позвонил в райцентр, в контору ГОХа. Из трубки рвался треск, обвальный грохот, Ивлев — главный охотовед, прекрывая помехи на линии, надрывно кричал:

— Да-да, все как есть! Мы только что оттуда, к людям ходили...— Ивлев начал рассказывать все, что было в письме, потом замолк и вдруг матом заорал на кого-то там, у себя в конторе, но спохватился, осекся: — Вы не обращайте внимания, лезут тут все за подробностями. Так вот, он отчаянно боролся, но замерз.— Решив, что разговор окончен, Ивлев, не прощаясь, повесил трубку.

Тогда я положил перед собой письмо и написал некролог.

И вот теперь я вернулся в Сарысу и привез с собой письмо от Стрепетова, очерк о нем и некролог. Первый раз в жизни я сам написал некролог.

С первым светом Ефимыч растормошил меня, и мы вылезли из палатки. Над рекой стояла звенящая, какая бывает перед мертвым зноем, тишина. Мы сняли с за-

кидов попавшихся ночью трех сомов, и старик вытащил из песка лодочный якорь.

Обратная дорога показалась бесконечной. Лодка медленно ползла вверх по течению, Ефимыч думал о чем-то важном и подолгу молчал, сосредоточенно работая рулем. С тоскливыми криками на нас падали чайки и, испуганные, резко взмывали в раскаленное небо. Чудилось, что от просмоленных бортов пахнет паленым деревом.

Мимо нас прошлепал плицами старый буксир, он тащил ржавую до красноты баржу, на которой блестел снежный холм соли. Груз шел в один из рыболовецких колхозов низовий реки. На руле буксира стоял голый — в чем мать родила и черный, как обгорелая головешка, матрос. Гудок проревел нам сипло и одиноко.

На постой меня взял заведующий промысловым отделением, здесь перед уходом с Ефимычем на Курли я читал стихи его сына Веньки. Прямо на крыльце лежали ключ и записка. Жену и Веньку хозяин отвез на какое-то озеро с лечебной грязью и пиявками, а сам улетел в Алма-Ату «для поддержки дочери при поступлении в институт». Соседка сказала, что молоко мне оставили в чулане, чтобы рыбу я варил в зеленой кастрюле и не забывал на ночь запирать коровник.

Я бессильно опустился на крыльцо. Приплелся Индус, обнюхал меня, пропитанного запахами реки, солнца, рыбы, и лег у ног. После смерти хозяина в Индусе что-то переломилось — он потерял нюх, злость и терпел любые руки. На охоту его никто не брал. Индус сам убегал в камыши и возвращался перепачканный кровью, перьями. Жил Индус по дворам охотников, после похорон Стрепетова Агеева продала дом, ружье, капканы, взяла для пенсии справку о смерти мужа и уехала в Балхаш к сыну. В суматохе про Индуса забыли, и теперь случалось, что его гоняли от дома, в котором он жил, дверь которого сторожил по ночам.

Ночью я проснулся от выстрела, заполошно залаяли собаки, захлопали калитки. Утром мне сказали, что новый хозяин стрепетовской избы напился и застрелил Индуса,— собака долго скреблась в дверь и вывела его из себя.

Ефимыч пришел в аэропорт с мешком, в тех же закатанных по колено парусиновых штанах и босой. В мешке бренчало железо. Две козы уже были изгнаны со взлетной полосы — из-за заречных барханов показался самолет. Ефимыч заторопился и неловко протянул руку.

— Я тут гвоздей нашел, топор вот подточил. Так что я на Курли пошел, сторожку латать. Сезон скоро.— Он кинул за спину мешок и зашагал к реке. Я еще чувствовал шершавость стариковской ладони и все смотрел в узкую, сутулую спину Ефимыча, пока он не затерялся в разноцветной тальниковой роще.

Гончая



В тени крыльца лежала старая гончая. Ноги ее, прежде сухие и стройные, теперь скривились в суставах, потолстели. Поджарый живот обвис, на месте сосков, когда она вставала, болтались складки сухой коричневой кожи. Целыми днями гончая валялась, положив морду на лапы, уставившись перед собой неживыми бельмами, и, казалось, она думала о чем-то тяжелом или просто дремала.

Была она чистых гончих кровей, и в свое время на нее с завистью смотрели охотники. Верхами пробирались к избе хозяина, везли деньги, пушнину. Если состоится сделка — все окупится!

Хозяин звал гостей в дом, теребил мех, прищурившись смотрел на кредитки, и отправлял всех ни с чем — его гончей не было цены!

Но сродных по крови кобелей в округе не держали. И в щенках уже не было красоты, сноровки, хитрости охотничьей собаки. Первый выводок появился у нее от молодого волкодава. Чабаны гнали отары вниз, к большой степной реке. Кобель-загонщик остался с гончей, а через день кинулся догонять свою отару. Она долго трусила за ним, ласкалась, ложилась поперек тропы. Потом полакала из речки и поплелась обратно, к избе хозяина.

Щенки ее были проданы чабанам, по три рубля за каждого. Один из щенков, раздавшийся в корявого пса, сторожил в селе керосиновую лавку.

А позапрошлым летом по рукам разошелся второй выводок от обыкновенного вислоухого цепняка.

Гончая уже не могла служить, как прежде, и ее не кормили. Она и не напоминала о себе — даже не пода-

вала голоса, только изредка скулила во сне — и о ней не помнили, пока на кухне не появлялись кости.

По ночам гончая часто просыпалась. И однажды, при большой луне увидела рядом с сараем поджарую собаку. Гончая поднялась, постояла, будто проверяя слабые ноги, и, шатаясь, засеменила к сородичу...

И последний раз в жизни она захлебнулась запахом, который будил в ней безумную ярость, неистребимое желание терзать, рвать на куски!.. Молодой волк вылизал острую, крепкую грудь и, встревоженный, ушел в горы.

Она быстро остыла. Утром хозяйка подошла к сараю, увидела гончую и позвала старика. Он понял все быстрее, ударившись головой о притолоку, кинулся в хлев, разглядел в углу беспечно жующего телка и облегченно пробормотал.

— Цел, обошлось, значит.

И крикнул.

— Эй, мешок поглядика-ка в сенях, закопать ее надо.

Хозяйка принесла большой крепкий куль. Старик посмотрел его на свет и недовольно буркнул.

— Мешок-то гожий или повылазило? Там, за дверью, худой есть. Ей все одно...

А набежавшую кровь присыпали теплой с ночи золой.

Косуля



Весеннее Прибалхашье шумело молодым буйным камышом. В разливах вешней воды сверкало солнце. В плавнях исходили любовными криками и брачной суетой утки, гуси, бакланы. Иногда над этой разноголосой, резкой в красках кипенью появлялись пары увлеченных собой лебедей. И тотчас ветер подхватывал и уносил их трубные крики.

Я стоял на крутом берегу Топара. Еще ледяная глинистая вода мчалась к Балхашу, билась в зыбкие берега. Под ее напором рассыпались пласты земли и с брызгами рушились в реку.

Чуть ниже Топар несся по излучине, здесь к противоположному берегу тянулись красные тальниковые мели. Зимой через лед по ним к поселку приходили зайцы, фазаны. За ними тянулись лисы, редко захаживали и волки.

Чего проще гнать зазевавшегося косого по голому льду! Задаст стрекача вперед — там дома, люди. А назад — так вот они, быстрые ноги и голодная хищная пасть!

Мели эти уже высохли, песок искрился под солнцем. Сейчас оттуда неслись азартные ребячьи крики, смех, топот. Я подошел к ораве худых, успевших загореть мальчишек. За их спинами стояла косуля! Дети обступили ее и молча уставились на меня. Потом самый старший из них, будто зная, что я буду спрашивать, выпалил.

— Это наша Алька! Живет вон у него.— Он показал на малчишку лет шести.— А потом будет у меня, потом... Потом по очереди, Кадыр знает. У него в тетрадке очередь записана.

Я хотел подойти к косуле, она дичилась, сторонилась меня.

— Чужих Алька боится! А если ее гладить хотят, даже копытами дерется,— предупредил один из оравы. И добавил: — Нам ее с охоты принесли, она левую ногу сломала. Теперь хромает... А вы завтра уезжаете, мы знаем. Ее все приходят смотреть, если из приезжих. Смотрят и спрашивают все одинаково.

Мальчишки сразу потеряли ко мне всякий интерес и побежали на край мели. Алька, гордо ступая по теплому песку, пошла за хозяевами.

У тальника мальчишки, как по команде, кинулись врассыпную и попрятались. Косуля остановилась, словно дала возможность затаиться, и вдруг бросилась в кусты. Оттуда вылезли ребята и загалдели.

— Она сначала тебя нашла! Тебя!..

— И нет! Меня после!

Потом проигравший отошел в сторонку, а остальные опять попрятались в тальнике и опять Алька принялась их искать...

Я долго смотрел за этой редкой игрой, которая, по-видимому, никогда не надоест ни мальчишкам, ни косуле. Потом повернулся и пошел прочь, в гостиницу.

В эту минуту я вспомнил историю, случившуюся, когда мне было столько же, сколько этим мальчишкам сейчас. И я им позавидовал. У каждого в детстве есть своя косуля, была она и у меня, и я бы мог рассказать им о ней, но, наверное, не имел права.

Я всегда с нетерпением ждал брата. Приезжал он чаще всего ночью, дня не хватало на длинную дорогу. Командировки его были в неведомые для меня края: Мын-Арал, Шемонаиха, Барса-Кельмес, Катон-Карагай...

С почерневшим от усталости и щетины лицом он молча раздевался и с медвежьей осторожностью лез в ванну. А я принимался ворошить, перетряхивать его дорожные вещи и обязательно находил для себя что-нибудь интересное. Привозил он куски руды, бокситов, огромный поплавок от рыбацкой сети, зуб гигантского судака, камень из пирамиды древнего захоронения... Иногда была и охотничья добыча, если дела кончались на пару дней раньше и брат мог побродить с чужим ружьем. Своего он никогда не возил, говорил, что люди обязательно пло-

хо думают, если человек едет в деловую командировку и берет с собой удочки или ружье.

Однажды брат привез из Борового белку. Она долго жила у нас на книжном шкафу, потом продавец, у которого я покупал кедровые орешки, отыскал в одной из школ подругу для моей белки. Я несколько раз ходил в эту школу, а потом не стал — моя белка забыла меня, вокруг сновали непоседливые бельчата и ей стало не до людей.

Вот так же ночью, вернувшись с Топара, брат позвонил у двери. Я моментально проснулся, кинулся открывать. Сбросил щеколду и отпрянул — в коридор вошел косуленок! Мордочка его была вымазана в кефире: Кузьмич, шофер, не поленился сделать большой круг в райцентр, но в магазине молока не оказалось и косуленку пришлось обходиться кефиром.

Он осторожно шагнул в комнату и поскользнувшись, упал. Отчаянно крича, он попытался встать — не смог, и вконец перепугавшись, завалился набок и тыкался носом в натертые плитки.

Брат велел принести из кухни грубую циновку, косуленок тут же вскочил и потом долго не решался покинуть половик.

Он прожил на свете не больше двух недель. Ночью горели камыши, люди ездили смотреть огонь. Поехал и брат. Невдалеке от пожара они заночевали в машине, а утром к ним пришел косуленок.

Ему отвели заднее сиденье, он спокойно лежал на нем. Когда Кузьмич останавливал машину, вместе с людьми выходил и косуленок. Он пил из ручьев, нюхал асфальт, фыркал и лез обратно на свое место.

Жил он у меня в комнате, пил пастеризованное молоко, жевал мякиш, который я ковырял ему из батонов. Он привык к домашним, но доверчиво относился только ко мне и моим друзьям, приносившим ему хлеб, зеленые листья, оборванные с домашних цветов.

Научился бегать по голому полу, теперь на циновке он только спал. А в гостиную ходил для того, чтобы со всей непосредственностью оставить на ковре кучку черных шариков.

Скоро косуленок первый раз всерьез заявил о себе. В одну из прогулок он острым копытцем зашиб соседскую болонку — она попыталась укусить за ногу нового обитателя двора.

Хозяйка собаки заявила в милицию, оттуда пришли

люди, полдня просидели с моим косулёнком и написали для отвода глаз бумагу, что «хозяин козла оштрафован на 15 (пятнадцать) рублей 00 копеек», и вручили ее соседке. Она выстыдила меня за то, что я разоряю своих родителей, потом почему-то подобрела ко мне и на ближайшей толкучке купила себе визгливую таксу.

И все же после этого приехал Кузьмич и забрал косуленка к себе на дачу. Она стояла под горами в большом вишневом саду за высоким забором.

Я часто ездил туда с Кузьмичом и с каждым разом косуля встречала меня все более сдержанно и отчужденно.

Весной у моей косули пробились рожки, брат сказал, что оказывается, это рогач. Летом он уже не принимал из рук хлеб, траву. Осенью смог дотянуться и объел все листья с нижних веток. Зиму, почти не выходя, простоял в сарае, монотонно качаясь из стороны в сторону.

Почему-то Кузьмич сменил место работы. Я еще несколько раз ездил к нему на дачу, иногда, после нескольких телефонных просьб, Кузьмич заезжал за мной. А скоро Кузьмич и вовсе перестал бывать у нас.

Я скучал, вместо того, чтобы идти в школу, прятал на пустырях портфель, ехал на чужую дачу и допоздна ходил вокруг забора, глядел в щелки и замирал, если рогач делал хоть одно движение в мою сторону. И тогда, заметив во мне перемену, домашние рассказали...

...Ранней весной рогач сломал в заборе несколько досок и подался в горы. Кузьмич, приехавший домой обедать, кинулся в машину и попытался догнать беглеца. В конце проселочной дороги рогач остановился, посмотрел на Кузьмича, на машину, повернулся и наметом пошел вверх, к ельникам...

Узнав это, я кажется, обрадовался — в тех горах жили косули, сын Кузьмича часто охотился на них и иногда убивал. Тогда мне и в голову не пришло, что он может встретить моего рогача...

Много позже, когда все решили, что я уже вырос и правда меня не растревожит, я узнал, что рогач никуда не ушел,— забор был крепок. Просто Кузьмич зарезал его — приближались праздники.

Время дальних дорог



...Снегопад в степи собирается долго, медленно. Гаснут чистые краски, кажется, что набухшее небо опускается и начинает властно давить на все живое. Под этой обманчивой тяжестью становится тревожно, так и хочется сжаться, прикрыть голову руками и бежать в дом.

На миг метель замрет, вроде прицелится, как злее ударить по голой, остывшей степи,— и сразу наплывет молочная пелена, ветер изорвет ее, сколотит в колючие лоскуты и начнет хлестать ими вдоль и поперек притихшую землю.

А когда все будет кончено, вокруг тебя откроется неяркая, спокойная красота, в один миг завороженная ветрами. В глубине плотных кустарников застынет голубая сумеречь. Покажется, что жизнь степи остановлена мгновенно и навсегда.

И уже в который раз, как в каждую зиму, захочется убедиться что это не так...

Осень держалась долго. Степь пожелтела, тальник блестел густой паутиной. В черной воде увядали последние прозелени камыша.

Ночью на мелях нарастал ледок. А с большой воды доносился гомон сбившихся в перелетные стаи уток. Для них пришло время дальних дорог. И однажды утром над камышами пронеслись прощальные крики и к горизонту потянулись клинья улетавших птиц.

Лежит на барханах промозглая стынь. На голых озерах пронзительно и горько кричат отставшие утки. Они кружат, падают грудью на ледяную воду и, не решаясь

сесть, окунуться в нее, опять взмывают в туманное небо.

Топят в домах еще не жарко, берегут топливо, да и обманывают себя — надеются, что тепло вернется и продержится еще несколько дней.

Но все же осень надоела, изо дня в день дули сырые ветры, несколько раз начинался снег, от которого ломило тело, подступала сырая духота, размокали овчинные полушубки. Снег струился и с готовностью таял на земле, крышах, ладонях. А вокруг поселка — непролазные осклизлые солончаки с коричневой и горькой водой.

Ветер за несколько дней разогнал осеннюю истому, общипал с тальников листья, вытрепал метелки камышей. Потом пригнал низкие, желтоватые в просветах тучи. Совсем немного степь парила, а когда она растратила последнее тепло, стало неуютно, зябко.

В один из вечеров из слепой мглы дохнула пурга. До темноты сыпалась мелкая острая крупа, а после полуночи началось! Снежинки царапнули оконное стекло и печная труба задохнулась ветром, завыла.

Всю ночь бесновалась шальная метель. Вихри снега, как птицы, били в окно и оплывали подтеками. Под застрехой беспокойно копошились и попискивали воробьи, в сенях заунывно скулила собака.

К рассвету разноцветья не стало — только белое раздолье притягивало взгляд и резало глаза. Под ногами уже хрустело, воздух тревожил запахами зимы.

Неловко чувствует себя застигнутая врасплох дичь. Выскочит на пустошь заяц-песчаник и далеко виден не пролинявший серый комочек. Не успела с зимней шубой и косуля, неслышно выметнется из тальника — яркое рыжее пятно! Заспешили и кабаны, ушли в камышовые буреломы и деловито устраивают зимние лежки.

Тальник и ченгель еще не утратили гибкости. Придавленные снегом ветки тянутся вверх, сбрасывают с себя белые хлопья, и в степи появляются красные, черные пятна.

Но скоро и они исчезнут — небо все еще вьюжное. Второй снег будет валить спокойно и долго. Он неторопливо ляжет на землю, и совсем исчезнет осень. Под негреющим солнцем, в ветрах и морозах все сожмется, забудется.

Первое утро



Медленно просыпается укутанная в снег степь. Размытым пятном висит белесое солнце. После первой пурги ветки обледенели, как бубенцы звенят они под порывами ветра.

Монотонно цокают копыта лошадей. Брошены поводья, бесконечные барханы тянутся до горизонта и наплывает свежий санный след.

Из саксаульника выскочил заяц — и застыл. Склонил набок головку, приподнял лапку. Вцепился ветер в его дымчатый пух, заворошил, словно хотел вырвать клочок и играючи помчать его по снежной целине. Но вмиг сброеив оцепененье, косой проворно кинулся в спасительные заросли, оставив на колючке ченгеля пуховую паутинку.

И тут же, словно родившись из снега, из-под ног лошадей вылетел радужный ком! Лошади было шарахнулись, но быстро успокоились, сам фазан перепугался не меньше, пронесся над нами, и покачав короткими крыльями, упал в тугаи. Забавно приседая, громко цокая, петух побежал по старой заячьей тропе.

Прямо через дорогу, пересекая заячий след, тянутся размашистые следы лисы. Видно, что косой совсем устал, он часто бросался в стороны, после прыжка падал в снег всем телом и только ужас приближающегося врага гнал его вперед.

Скоро мы увидели развязку этой гонки. Лиса нехотя скрылась за барханом, мелькнув огненным хвостом. На утоптанной полянке лежал разорванный заяц. Как только мы отъедем подальше, рыжая вернется. Она пересилит страх от оставленных нами запахов, дотянется мордой до добычи, схватит ее и кинется прочь. Но скоро

жадность возьмет верх и лиса снова начнет рвать остывшую тушку.

Лошади прибавили шагу и перешли на рысцу, в морозном воздухе появился запах дыма, а потом накатился и собачий лай. В сизой дымке виден аул, на реке чернела пробитая людьми прорубь, вдоль заснеженного берега тянулись скирды желтого сена.

Январские оттепели



Ни одна зима в Прибалхашье не проходит без причуд. Погода здесь изменчива, как и пути-дороги бродячих ветров.

Свистит поземка, трещат от морозов ветки. Все живое прячется: в камышовые буреломы уходит дичь, без нужды не выйдет из дома и человек. Воробьи жмутся к горячим от постоянной топки печным трубам...

Но вдруг мороз спадет, и в степи начинается вроде непонятное. Верхушки барханов оттаивают, а если снег сойдет совсем, со стороны напоминают юрты. С тальников скатываются капли воды, отекают сосульки.

Изменяется жизнь зверей и птиц. Кабаны часто выходят на пустоши, здесь наскоро устраивают лежку. Понюхает воздух кабан, повалится боком в приготовленную постель и выставит ноздри на ветер. Да так и будет лежать, пока не остынет короткий зимний день.

Время кормежки давно кончилось, а на прогалинах еще копошатся фазаны. Петухи распускают по снегу яркие крылья и ведут себя как на весенних токовищах. Скромные по окраске курочки тоже копошатся, но поодаль и делают это спокойнее.

Самые взбалмошные обитатели степи — зайцы — начинают плести на отсыревшем снегу немыслимые петли. Вылетит косой на бархан, замрет. Но боязно ему на голом месте, встрепенется и опять глохнет в ченгеле торопливый заячий топоток.

Даже косуля иногда выйдет из камышей и постоит, греясь под лучами. А вокруг — золотой камыш, красные тальники. Только ченгель остается серым, невзрачным.

Как только солнце покатится к горизонту, тепло исчезает. И снова мороз щиплет щеки. Но небо чистое, закат ясен и быть завтрашнему дню чистым.

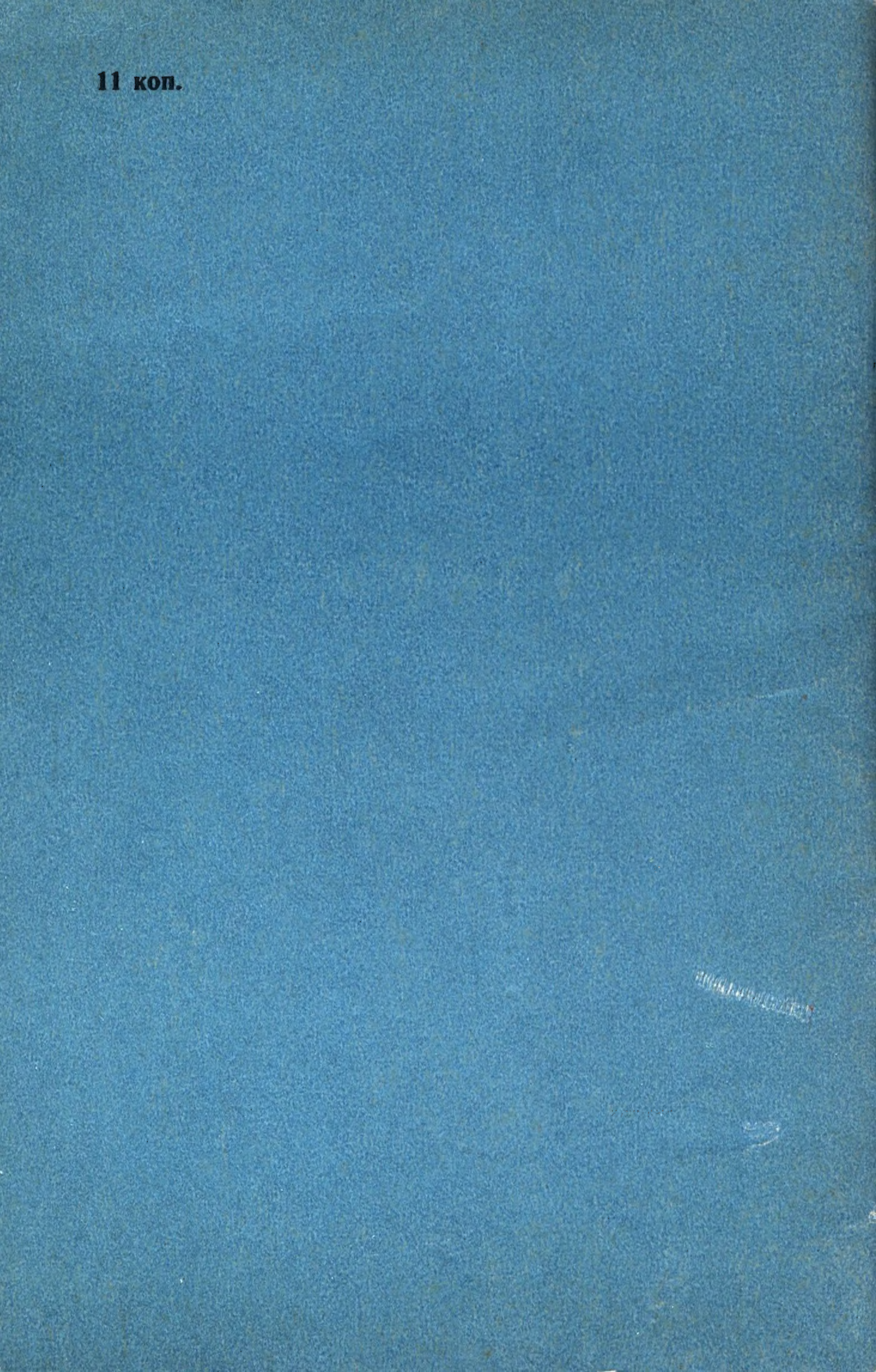
Просыпаешься с надеждой, а за окном — серо. По степи носится седая пороша. Потом начинается снегопад, снежинки большие и не сразу тают на ладони. На верхушках барханов уж поблескивает ледяная корка.

Выкатилось солнце, но не стаивает иней, опять не высунется из камышей дичь. Воздух высох и перехватывает дыхание. Никто еще не отважился проложить первый след.

Опять в степи звенящая тишина. Но это ненадолго. Прилетит с Балхаша ветер, и все переменится. Пожгут морозы, и в который раз зимние дни будут то теплыми и сырыми, то холодными и ветреными.

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *Н. Бабусенкова.* Художник *Жапаров.* Художественный редактор *Р. Юлдашев.* Технический редактор *С. Лепесова.* Корректор *Г. Абдраимова.* Сдано в набор 12/III-73 г. Изд. № 150. Подписано к печати 13/VI-73 г. УГ01572. Бум. тип. 2,84×108$^{1}/_{32}$=2,25 п. л.—3,72 усл. п. л. (Уч.-изд. 3,7) Тираж 100 000 экз. Цена 11 коп. Заказ № 446. Полиграфкомбинат Главполиграфпрома Госкомитета Совета Министров КазССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Алма-Ата, ул. Пастера, 39.



11 коп.